

Юрий
Поминов

ЕСЛИ НЕТ ИСКРЫ В МОЗГУ...

Ностальгические заметки

Если нет искры в мозгу,
не поможет и КазГУ...

Из студенческого фольклора 70-х годов

Плохой был день... Опять ошибки в газете... И номер выпустили никудышный... «Кто я такой и что я тут делаю?» – в десятый, а может, уже в сотый раз в раздражении подумал я, с тоской оглядывая заваленный бумагами редакторский стол... Работать не было ни малейшего желания...

Секретарша принесла почту... Из кипы газет вывалился конверт нестандартного размера из плотной бумаги, на котором замысловатыми восточными вензелями было начертано «Приглашение».

«Имеем честь пригласить Вас, одного из наиболее успешных выпускников университета, на наш юбилей... Торжественное собрание состоится в театре оперы и балета... Торжественный приём – в ресторане “Тамерлан”...»

«Какой там юбилей, когда у нас тут всё валится!» Я отложил приглашительный... Взглянул было за газеты... И снова потянулся за приглашением... «А что, может, и вправду поехать? Это же сколько лет прошло? Неужели сорок? Ну да, с поступления почти сорок, и почти 35 – после окончания. Целая жизнь... И что я там теперь хочу увидеть?»

НА КИРОВА, 136

В ту пору – начала семидесятых годов теперь уже прошлого века – КазГУ – Казанский государственный университет имени С. М. Кирова – был единственным в республике. А факультеты журналистики (именно на нём я хотел учиться) во всём СССР можно было пересчитать по пальцам одной руки. Москва, Ленинград, Свердловск, Казань, кажется, ещё Киев... Не шибко разбежишься. «Куда ты лезешь? – говорили мне знающие люди. – Там же всё заранее расписано, или такие деньжищи заплатить надо...» Хотя я и без них знал, что шансы мои невелики: ну и что, что я закончил школу с одной четвёркой? Где она была, эта школа? В Тьмутаракани – сто километров от районного и почти двести – от областного центра... Ну и что, что проработал два года в районной газете? В КазГУ и без меня пруд пруди желающих... Словом, и запугивать меня не надо было – я сам боялся... И потому ещё готовился – перечитывал школьные учебники, налегая на историю и литературу... Загодя отправил документы...



И вот – лечу, впервые в жизни, на четырёхмоторном турбовинтовом ИЛ-18. Где-то я читал, что это самый надёжный самолёт, который может лететь, если у него откажет один и даже два двигателя... Лёту оказалось всего ничего – меньше двух часов...

Крохотный, старый ещё, аэропорт, душная летняя ночь... Первая поездка по ночной Алма-Ате – на курсирующем круглые сутки экспрессе-«пазике» номер 92... Надо же было как-то скоротать ночь...

* * *

Утро – свежее, яркое... Центр Алма-Аты, пересечение проспекта Коммунистический и улицы Кирова, на которой чуть-чуть в глубине «прячется» главный корпус университета... Неумолчное журчание воды в арыках вдоль проспекта, томное воркование горлинок... Всё – новое, непривычное... И уже – нравится...

И в приёмной комиссии меня, оказывается, ждут... Длинноногая девица с преувеличенным энтузиазмом восклицает: «А вот и Юрий Дмитриевич пожаловал! Ждём-ждём...» Это третьекурсница, которую припрягли для работы в приёмной комиссии. Работает она бесплатно, зато не поедет осенью на сельхозработы. Впрочем, это я узнаю лишь потом, а сейчас мне льстит её отчасти показное внимание...

С моими документами всё в порядке, а вот места в общежитии на время экзаменов нет. Советуют снять комнату. Я – в полной растерянности... Но, к счастью, я не один такой: сдают документы ещё два парня, с которыми мы тут же знакомимся, – Сашка Водолазов из Усть-Каменогорска и Вовка Каныгин из Балхаша. Пока раздумываем – уже втроём, – что нам делать, знакомимся с абитуриенткой Надей. Она алмаатинка и к тому же живет в своём доме. Набиваемся в квартиранты...

– Я не могу сама... – ей и отказывать неудобно (после пятиминутного знакомства, уже без пяти минут однокурсники!), и боязно пускать в дом троих чужих парней. – Мне надо с дедушкой посоветоваться. Да и негде у меня...

Мы её быстро додавливаем, едем вместе к дедушке. Потом в её дом по Красногвардейскому тракту – в доме действительно тесновато. И быстро находим решение: жить нам можно на веранде. А что нет постелей – не беда: можно взять напрокат спальные мешки и надувные матрасы. Мы их берём – по Надиному паспорту, поскольку ни у кого из нас нет алма-атинской прописки, а она нам доверяет (говорил же – мы ведь без пяти минут однокурсники).

Так мы живём примерно неделю. По утрам нас будят лучи солнца, бьющие в широкие окна веранды. Перед ней – крошечный огород с цветущей картошкой – совсем как у нас дома. Правда, веранда к обеду раскаляется так, что трудно становится дышать... Но зато у нас есть крыша над головой, причём бесплатная, да ещё Надя поит нас по утрам и вечерам чаем...

По вечерам, когда мы уже одуреем от зубрёжки, Вовка рассказывает нам истории из своей богатой событиями жизни: о работе на Северах (именно так он произносит это слово, ударяя на а), о своих амурных похождениях... Ещё он пытается подбивать клинья к Наде, но без особого успеха.

Вовка отсеивается сразу же, срезавшись на первом экзамене – по сочинению... Мы с Сашкой Водолазовым перебираемся в общагу, откуда выехали провалившие первые экзамены бедолаги... Как давно всё это было!

Теперь же, прилетая или приезжая в Алматы (как плохо, невкусно, зажато звучит это слово по сравнению с тогдашним просторно-распевным – Алма-Ата), я всегда еду в город по бывшему Красногвардейскому тракту, мимо бывшей остановки «Автобаза», тропинка от которой вела через железнодорожные пути к Надиному дому. И всегда вспоминаю Надю – Надю Пяткову, с которой мы вместе учились и

многие годы дружили, и которой теперь уже нет с нами. Каким бесхитростным, искренним и светлым она была человеком! Какая чистая у неё была душа! Вечная тебе память, Надюша!

* * *

О, наши университетские общаги (а мне довелось квартировать в трёх из них)! О, этот удивительный, неповторимый не быт даже, а целый мир!..

Впервые я окунулся в него в абитуриентах. Нас с Сашкой Водолазовым подселили к Сашке Швецу. Мы были «стажники» (Сашка отслужил в армии, я два года проработал в районной газете), а Сашка Швец – школьник. Нам двоим полагались какие-то привилегии при поступлении, а ему – нет. И ещё Сашка ужасно комплексовал по поводу своей национальности. Ко мне он почему-то проникся симпатией и сразу сказал:

– Ты не захочешь даже со мной разговаривать, когда узнаешь, кто я!

– А кто ты?

Вместо ответа Сашка сунул мне свой паспорт, разорванный едва ли не пополам. Я посмотрел и ничего особенного в нём не обнаружил.

– Ну и что? Паспорт как паспорт, только порванный!..

– Ты на национальность посмотри! – с каким-то вызовом наседал Сашка.

Я посмотрел – еврей – и снова спросил:

– Ну и что?

– Да как ты не понимаешь, что с таким клеймом жить нельзя! – возразил Сашка, хотя пыла у него как будто поубавилось.

– Да будь ты хоть негром преклонных годов... – отвечал я ему, переводя разговор в шутку. – Только этот разговор со мной больше не заводи – я ведь и матом могу...

Потом он читал мне свои стихи – юношеские, наивные, но, по-моему, далеко не бесталанные:

Ну какая разница – начинают краситься,

Начинают краситься девочки у нас...

И в нескромном платье – ну какая разница! –

Входит одноклассница в наш девятый в класс...

Недолго мы пожили втроём. Через несколько дней к нам подселили некоего «старца». Было ему около тридцати или чуть-чуть за тридцать, представился он нам Виктором Петровичем – научным сотрудником из Новосибирского Академгородка. Говорил, что устраивается на работу в КазГУ. Подпитывал нас житейской мудростью и, как теперь выражаются молодые, уж очень сильно «понтовался». Мы его сразу невзлюбили, за глаза окрестили доцентом (недавно вышел на экраны знаменитый фильм «Джентльмены удачи») и однажды ночью, после того, как накануне пропал последний червонец у Сашки Швеца, и вовсе выставили из комнаты. Он ушёл вместе со своим чемоданчиком через окно, чтобы не привлекать внимания. Похоже, в истории с пропажей червонца рыльце у него и впрямь было в пушку...

Сашка Швец познакомил меня с двумя разбитными абитуриентками: Людкой Яшной и Любкой Власовой. Про первую сказал: «У неё глаза – я таких ещё не видел! Да ты сам это поймешь – я рядом с ней сяду». Людка и вправду была уж очень хороша собой – с тех самых пор кто только на неё не западал (об этом я ещё, может быть, и расскажу). Любка была под стать ей – огненно-рыжая, смешливая, дерзкая... К тому же обе они курили, что для меня, деревенского парня, было

верхом раскованности. Курили, когда были деньги, входившие тогда в моду длинные дорогие ароматизированные сигареты «Нефертити», пуская дым колечками и вензелями. А Людка ещё с особым шиком направляла дым изо рта в нос, но не втягивала затем, а просто обозначала это изящное движение... Всякий раз это был своего рода маленький спектакль.

Меж собой Людка с Любкой в это время могли изъясняться, эпатажуя «абитуру», в таких, к примеру, выражениях:

– Хочешь «Стюардессу»?

– Да нет, у меня «Опал».

Для непонятливых – это были названия болгарских сигарет.

...Из общаги мы пару раз устраивали ночные набеги на сады алмаатинцев, которым не посчастливилось жить в собственных домах неподалёку. Однажды нас застукал хозяин, и мы, парни, бросились наутёк, забыв от страха сумку с уже набранными яблоками. Но на высоте оказались наши подельницы – абитуриентки Валя Захарченко и Таня Конобейцева, тащившие её то вместе, то попеременно в отдельности, пока мы, отбежав на безопасное расстояние, и только потом, устыдившись, не взяли у них эту сумку.

Кому-то из нас повезло в тот год больше, кому-то меньше. Мы – Сашка Водолазов, Людка Яшная, Любка Власова и я – стали студентами. Валя Захарченко поступит на следующий год, Таня Конобейцева будет учиться на заочном, Сашка Швец по моей наводке сменит меня в нашей железинской «районке»... Где они теперь? Кто где: Сашка Водолазов живёт то в Семипалатинске, то в Москве, то в Турции, всякий раз обещая при встрече в подпитии, что в следующий раз мы увидимся на его яхте в Анталье... Людка Яшная – в Астане, по-прежнему в журналистике, тянет на себе большой груз семейных забот... Любка Власова обосновалась в Бишкеке, Валя Захарченко – владелица полиграфической фирмы в Костанаве, а Таня Конобейцева (теперь Гольм) – в Германии, мы с ней иногда общаемся по «скайпу». Сашка Швец, уехавший меньше чем через год из нашей Железинки в Еврейскую автономную область, скорее всего, в Израиле. Но мы с тех самых абитуриентских пор так и не виделись. А как бы мне хотелось повидать его, почитать его новые стихи. Мне кажется, поэт из него должен был получиться настоящий.

* * *

На экзаменах мне, в общем, везло, и срезаться я мог всего лишь раз – на истории. Экзаменаторов было двое, оба казахи: массивный пожилой инвалид на костылях, почти непрестанно куривший сигареты «Виллс» и заваливавший абитуру направо и налево, и невысокий, живой, как ртуть, мужик средних лет с курчавой головой. Ему я, по счастью, и достался и поплыл на одном из трёх вопросов (там было что-то из истории древней культуры)... Недолго послушав меня, он заглянул в экзаменационный лист, помог наводящими вопросами и, уточнив между делом: «Сельскую школу заканчивал? – подытожил: – Четверки будет достаточно...» Быстро расписался и, как будто радуясь тому, чего ещё не знаю я, добавил: «Теперь поступил!» Я не сразу понял – о чём это он, и он повторил: «В университет поступил».

(Кстати, с этим преподавателем, известным в КазГУ человеком, мы потом познакомимся ближе. Бахтажар Мекишев создал и много лет возглавлял университетское общество «Семь муз», которое устраивало встречи с людьми культуры и искусства, разного рода знаменитостями, наезжавшими в Алма-Ату. Мекишев был душой этого общества.)

На следующий день после экзамена по истории официально объявили список поступивших. Моя фамилия значилась в нём второй – после Любки Власовой, но

она-то была абитуриентка со стажем, поступала не в первый раз, а я сходу выдержал конкурс – четыре человека на место.

Первым делом дал телеграмму домой. Сначала хотел ограничиться единственным: «Поступил», – потом подумал, вдруг не поймут, и написал: «Поступил в университет. Приеду такого-то».

После чего решил выполнить данное самому себе обещание: поступлю – куплю и подарю первой попавшейся женщине цветы, без всяких объяснений. Вместе со мной пошла Валя Захарченко, хорошо сдавшая экзамены, но не прошедшая по конкурсу (она была «стажница» лишь наполовину – отработала всего год). И когда я с чувством исполненного долга отправился с ней обратно в общагу, она сказала:

– Ну и обалдуй ты, Поминов... А мне ты эти цветы не мог подарить?

– Ну ты же не первая встречная, – пробормотал я, понимая, тем не менее, насколько она права...

Через год Валя поступит на журфак, какое-то время мы будем близко общаться, но потом жизнь разведёт нас, хотя взаимные симпатии останутся. Именно Валя возьмёт на себя героический труд – напечатать текст моей дипломной работы на пятом курсе – нечто скучнейшее на газетно-сельскохозяйственную тему. Даже теперь я отчётливо себе представляю – как она при этом плевалась. Она ведь, наверное, считала, что я не такой, как все...

А виделись мы с ней после университета лишь однажды – через двадцать с лишним лет. Передо мной была красивая, безукоризненно одетая, зрелая женщина, знающая себе цену. Владелица собственной фирмы... В большом зеркале я увидел своё отражение рядом с ней: одет как попало, небрит, физиономия после вчерашнего помята... Валя же излучала жизнелюбие и доброжелательность. Сразу всё поняла...

– Да ладно комплексовать, Поминов! А то я тебя не знаю...

У неё была дочь – подросток. Когда я ей стал говорить, какая хорошая у неё мать, Валя меня тут же остановила:

– Всё, Поминов, всё. Ещё не хватало, чтобы ты слезу из меня выдавил!

Мы больше не виделись. Осталась фотография – ещё студенческой поры, сделанная в горах. На ней – улыбающаяся Валя и записка на обороте: «А я с тобой ещё в горы хочу...»

* * *

Каждый год мы ездили на сельхозработы, а избранные – в стройотряд. И если первые были, скорее, безвозмездной помощью студенчества родному государству, то в стройотряде можно было подзаработать. Я бывал и там, и там. Начну с сельхозработ.

В тот год нам, конечно, не повезло, потому что нас бросили на табак, то есть на его уборку, в табаксовхоз «Курамский», за сто с лишним километров от Алматы.

В день отъезда я познакомился с Наташей Баталовой. Едва увидев её, поразился – тургеневская девушка... Я даже не знал, что такие в наше время бывают. Наташа несла, вернее, волочила по асфальту тяжеленный рюкзак. Я протянул руку, чтобы взять его у неё. Она, перехватив рюкзак в левую руку, правую протянула мне и, почему-то покраснев, представилась:

– Наташа!

– Рюкзак давайте, – не меньше неё смутился я, ощущая в своей руке её теплую, доверчивую руку.

На нашем по большей части безалаберном курсе она всегда была чуть-чуть не такой, как все, – «девочкой из хорошей семьи». В самом прямом смысле: раньше занималась бальными танцами и музыкой. В одежде являла собой пример строгой элегантности и опрятности. С виду казалась иногда наивной, но это только казалось. В её душе такие страсти бушевали... И ещё она оказалась человеком в высшей степени стойким и мужественным, с выдающимся характером. И об этом я, наверное, ещё расскажу.

...А пока мы едем в совхоз. Мы ещё мало знаем друг друга, и, может быть, поэтому нам кажется, что теперь мы – одна большая семья. И нам так хорошо, так весело вместе...

Мы живём в больших бетонных складах, похожих на ангары. Мужской «барак» отдельно, девичий отдельно. Первые романы – сиюминутные, скоротечные, но и на всю жизнь – тоже. Не верите? Именно тогда Васька Г. обратил внимание на Ирку К. и до сих пор не утратил своих чувств к ней, хотя в их жизни столько потом всего было: женитьба (отчасти и я тому виной), рождение дочери, развод... Встреча через много лет в Германии, о которой мне Васька потом рассказывал, и всё время говорил, что всю жизнь любил и продолжает любить одну Ирку...

В совхозе первые размолвки, конфликты и разочарования... Сначала решили: работаем общиной, и весь собранный дневной урожай табака делим на всех поровну. Но потом часть нашей мужской половины решила, что работать «колхозом» невыгодно, и стала жить по принципу «каждый сам за себя и сколько наработает – то и его». Я остался с большей половиной группы, то есть по преимуществу в «бабском колхозе». Парням это не понравилось, что мне потом ещё аукнется – едва не останусь без университетской общаги.

Сбор табака – не лучшее из человеческих занятий. Не такое уж, правда, и сложное: обрывай себе да обрывай листья с растения, чем-то напоминающего подсолнух, только верхушка – как у кукурузы. В первый заход забираешь несколько больших нижних листьев (это низший сорт), во второй – несколько следующих. И так – раз до пяти-шести, пока не останутся самые верхние, самые маленькие, самые ценные... Соответственно, и норма сбора снижается.

В нашем «колхозе» её мало кто выполнял. И мне как-то пришлось успокаивать плачущую в зарослях табака Наташу Баталову, которая почему-то решила, что её, как злостную отстающую, могут отчислить из университета...

Может быть, самое неприятное в этой работе – клейкий горчайший сок, остающийся на руках после сборки листьев. Руки от него никак не отмываются. Наверное, ещё из-за этого (а может, из-за того, что жили мы в сплошной антисанитарии) на табаке я подцепил желтуху.

А ещё нам на табаке не повезло и в том, что вместо обычного месяца мы провели здесь сорок дней, и надоело нам это занятие до чёртиков.

Вернулись в Алма-Ату вечером, уже стемнело... Прощались на автовокзале: алмаатинцы разбирали нас, иногородних, кому некуда было деться, к себе по домам. Меня звал Толя Егоров. Я же чуть-чуть выпендрился:

– Мне в другую сторону!

– Куда? – спросил Толя.

– На спиртзавод, – небрежно ответил я, заскакывая в отъезжающий автобус Алма-Ата – Талгар – Спиртзавод и отмечая удивлённые взгляды оставшихся однокурсников.

В Талгаре жили друзья моих родителей. Но бахвальство моё уже через час было наказано: они с квартиры, куда я спешил, съехали, и мне с большим трудом пришлось отыскивать их дом в ночном Талгаре...

* * *

Мы – теперь точно студенты. Первая лекция – «Введение в литературоведение». Молодая преподавательница читает по писаному, частит, сыплет терминами. С тихим ужасом осознаю, что ничего не понимаю из её лекции: не успеваю записывать, и в голове ничего не остаётся.

На перекуре после первого часа пары признаюсь в этом парням.

– А мне так всё понятно, – небрежно замечает один из них, с которым мы ещё не успели познакомиться (он не ездил с нами на табак).

Я пристыжено замолкаю, убитый собственным ничтожеством.

...Первую сессию я, наверное, с испугу, сдал на отлично, в том числе это самое литературоведение. Того же, кому всё сразу было понятно, едва не отчислили за неуспеваемость.

Проучившись после начала занятий месяц с небольшим, я угодил в больницу. До этого довёл себя почти до ручки, занимаясь самолечением – подхваченную на табаке желтуху врачевал народными средствами: баня с веником, граммов 150 водки и тому подобное. Я думал, что у меня непроходящая простуда, пока кто-то из однокурсников не сказал:

– У тебя, похоже, желтуха – глаза совсем жёлтые.

И хотя я уже пару раз навещал наш университетский здравпункт, где у меня «ничего такого не находили», отправился в третий, сказал про возможную желтуху, и меня после несложного анализа мочи, которая уже давно напоминала цвет тёмного пива, сгребли и отправили на спецтранспорте в первую городскую инфекционную больницу.

Там я провалялся целый месяц. Сразу не понял – насколько всё серьёзно. Пытался писать рассказ – про то, как артисты областного драмтеатра привезли в деревню «Отелло» и как потом благодарные сельчане разобрали по домам артистов на ночь. И только актёра, игравшего Яго, никто брать не хотел – он так и ночевал в клубе...

То были очень тяжёлые для меня дни: лежать здесь после свёрхбурной студенческой жизни, среди чужих людей, одному... Зная к тому же, что не за горами сессия...

Посетители в эту инфекционную больницу не допускались. Была, правда, видеосвязь: два раза в неделю приходящие садились в специальной комнате у экрана с видеокамерой на первом этаже, а больной находился в такой же комнате, с тем же оборудованием, в нашем желтушном отделении. Но однокурсники меня своими посещениями не баловали, и я их в общем понимал: полдня и более того – занятия, подготовка к семинарам и коллоквиумам (я даже не знал, что это такое – коллоквиум), личная жизнь, большой город, полный соблазнов...

Компания в палате подобралась разношёрстная: директор престижной столичной школы, которого заваливали передачами; парень, отсидевший несколько лет в тюрьме и «ботающий по фене»; студент техникума – молодой человек, всё время говоривший про свою молодую жену... К ним регулярно приходили.

Один раз ко мне прорвались Васька Дмитровский и Толя Егоров. И то потому лишь, что Васькина мать – кандидат медицинских наук – была большим авторитетом в столичном здравоохранении. Их пропустили по её звонку. При этом Толя в белом халате вполне бы сошёл за врача, а на Ваське халат смотрелся, как на корове седло. И, конечно, я был растроган их визитом.

Ещё однажды вечером заявила Таня Конобейцева, у которой никаких связей не было – она просто перелезла в темноте через забор, что-то наплела медсёстрам внизу...

В больницу я попал в начале декабря и тешил себя надеждой, что уж к Новому-то году меня точно выпишут. Но подвели анализы, и меня оставили ещё на десять дней.

31 декабря я лежал в нашей пятиместной палате и с тоской думал, что согласился бы оказаться этой ночью в самой захудалой компании – лишь бы не проводить новогоднюю ночь в больнице.

Повезло ещё: послушал по радио (около моей кровати был «динамик») хороший спектакль «Каждый вечер ровно в одиннадцать»... Крутили (видно, для поднятия настроения) песни. Чаще других почему-то несло из динамика:

Ещё одиннадцать часов,
А двери – хлоп! – и на засов.
В окне Наташка мечется –
Как юная разведчица.
И вот брожу под окнами
Я кроликом подопытным.

Новый год встретил стаканом кефира...

Пролежал ровно месяц и, выйдя из больницы, долго не мог перейти проспект Абая – настолько отвык от городской суеты, что чувствовал себя на улице в некоей прострации.

* * *

Стремительно надвигалась сессия, которую я был полон решимости сдать. Но на факультете сменилось начальство: место нашего прежнего декана Михаила Ивановича Дмитровского, фронтовика и либерала, занял Темирбек Кожакеевич Кожакеев – полная его противоположность. Словом, мела уже новая метла, и я это сразу почувствовал, придя к Кожакееву со справкой и заявив, что хотел бы сдать сессию вместе со всеми.

– Ишь, какой быстрый, – едва взглянув на меня поверх спущенных на нос очков, сказал Кожакеев. – Ты сначала допуск должен получить. Или академический отпуск оформляй.

И мне был вручён листок с перечислением дисциплин, по которым у нас были экзамены и зачёты. Я должен был заручиться согласием каждого преподавателя на допуск к экзамену или зачёту по его предмету. Их было что-то около десятка... И начать я решил с Евгения Александровича К., ведущего у нас курс по истории КПСС.

Доцент К. был ещё и секретарём парткома университета, поэтому вёл себя с преувеличенным достоинством, граничащим с надменностью. В его облике было нечто холодное и отталкивающее. И даже когда он шутил, выражение лица его не менялось, и глаза оставались холодными. Упаси Бог было при нём сказать «История КПСС», надо было говорить: «История партии». Время от времени он брал наши конспекты, чтобы убедиться, насколько добросовестно мы фиксируем его лекции. И в пример нам ставил Иду Кон, которая вела записи тремя цветами пасты: синим или фиолетовым – его лекции, зелёным – выписки из учебника и красным – цитаты из первоисточников.

Впрочем, и Евгению Александровичу было не чуждо нечто человеческое. «Нечто» – это Людка Яшная, которую он звал «комсорг» и предпочитал видеть в аудитории прямо перед небольшой трибункой, с которой обычно вещал.

– А где комсорг? Почему я не вижу комсорга? – спрашивал он всякий раз, если Людки не оказывалось на привычном его глазу месте...

Чуть-чуть отвлекаясь, замечу, что комсорг Людка была ещё тот. Как-то мы с ней оказались на общефакультетной комсомольской конференции. И когда поднагоревший в пафосных, идеологически выверенных речах комсомольский секретарь начал свою речь со слов: «Товарищи, мы с вами живём в удивительное время», – Людка в тон ему, но уже тоном базарной торговки, громко отозвалась: «Шо вы говорите!»

И нас с ней едва не вывели из зала.

Теперь, когда я всякий раз поздравляю её с днём рождения, почти совпадающим с бывшим Днём комсомола, она иногда отвечает так:

– Ну да: волосы дыбом и зубы торчком – старая б... с комсомольским значком!

Но я, впрочем, отвлёкся. Ведь я собирался рассказать про то, как получал допуск у К. Кабинет его, огромный, как футбольное поле, располагался в нашем главном корпусе, через стенку от ректорского, и я попросил секретаршу доложить обо мне.

К. был один. Я несколько сумбурно стал объяснять ему суть дела и попросил расписаться в листке.

– Так вы у меня месяц на занятиях не были, – сказал он.

– Я болел, лежал в больнице, только вышел. Допустите меня к экзамену, на нём спросите и по пропущенному материалу.

– А сегодня почему не были на лекции?

– Не успел. Ещё болею, вот с допуском бегаю, – оправдывался я.

– Болеете, – задумчиво проговорил К., помолчал и заключил: – Ну вот выздоровеете, тогда и приходите.

Из кабинета я вышел оглушённым. Жизнь была кончена. Если К. не допустил меня к экзамену, значит, и к сессии меня не допустят. Не зря же и Кожакеев упоминал про академический отпуск. А мне так дорог был мой нынешний курс, что мучительна была сама мысль о возможном расставании с ним...

В полной растерянности, «на автопилоте», я спустился в гардероб, не зная, что мне дальше делать и как жить. И тут я услышал где-то сзади голос:

– Хорошо, что вы не ушли! Евгений Александрович сказал, чтобы вы вернулись...

– Так что, вы там говорили, я должен сделать? – грубовато сказал К., не глядя на меня. – Где-то расписаться?

Я протянул ему листок, который он тут же увенчал своей подписью. Собрать остальные было не так уж сложно. Ни один из оставшихся преподавателей не ставил при этом никаких условий и не гонял на экзаменах-зачётах дополнительно, включая того же К.

Сессию я сдал на отлично, наверное, повторяю, отчасти с перепугу. И в день своего рождения с чувством исполненного долга летел на самолёте в Павлодар на свои первые в жизни студенческие каникулы. И зачётка грела моё сердце.

* * *

Наши университетские преподаватели... Сколько было среди них умных, по настоящему образованных, интеллигентных людей, ярких личностей... Особенно среди филологов-литературоведов и языковедов.

Античную литературу нам читала Галина Васильевна Морозова – выпускница МГУ, учившаяся у самого Рацига, по учебнику которого учились уже и мы, и однокурсница Михаила Гаспарова, выдающегося учёного-античника. Стройная, одетая неброско, но со вкусом, часто в свитере, облежавшем её и подчёркивающим изяще-

ство фигуры, она переносила нас во времена Гомера... Я до сих пор помню: «Гнев, о Богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына,/ Грозный, который ахеянам многие беды содеял...» Совсем некстати вспомнилось, как переиначил эти строки Лёха Закутаев, подвергшийся, как и многие, гонениям со стороны нашего нового декана: «Гнев, о Богиня, воспой Алексея-поэта, мелкий, ничтожный, который многие беды принёс в деканат многошумный и комсомол развалил факультетский...»

Во время лекций казалось, что она не с нами, а сама по себе – среди своих любимых греков и римлян – их поэм, од, трагедий... И поскольку она хорошо понимала, что осилить этот культурный слой за семестр и даже за год мы вряд ли сможем (каюсь теперь, и «Илиаду», и «Одиссею» читал по диагонали... Язык их мне казался тяжёлым и невразумительным, а обуревавшие героев страсти – во многом надуманными), проверяла она нас (не помню уже – экзамен это был или зачёт) выборочно. Спрашивала, например, как одевались троянки, как выглядел Аполлон, как автор характеризует Агамемнона... Но мы тоже не лыком были шиты и, подученные старшекурсниками, отвечали: троянки – «длинноодежде» (так, впрочем, всегда одевалась и сама Галина Васильевна – часто, уже упоминал, свитер и джинсовая юбка или длинное платье, открывающее её высокую шею с маленькой умной головкой); Аполлон – «сребролукий»; Агамемнон – «державный»... Ну, как говорится, и т. д. Скорее всего, об этой нашей «хитрости», передаваемой от курса к курсу, знала и сама Галина Васильевна. Понимала, что вряд ли тут что можно изменить – полностью её любимые греки и римляне всё равно не будут нами прочитаны, – и пусть хоть что-то останется в нашей памяти. И вот осталось же! И не только у меня. И спасибо вам за это, Галина Васильевна Морозова.

* * *

Шекспира нам читала Светлана Михайловна Сагалович. Ей было, наверное, под сорок, может быть, чуть меньше или чуть больше. Красота её была яркая, броская. Тем более, что она умела её подчеркнуть, не боясь носить чёрные сапоги-чулки. Носила на груди часики в виде кулона на цепочке – большую редкость по тем временам. Про Светлану Михайловну ходили самые разные слухи. Говорили, например, про её роман с неким четверокурсником, которого она отбила у однокурсницы-красавицы. И хотя никто этого четверокурсника в глаза не видел, в этот слух почему-то хотелось верить.

Лекции Светлана Михайловна читала блестяще: экспрессивно, завораживающе ярко. Мужская часть курса часто слушала её, раскрыв рты. Хотя, как уже теперь понимаю, порой нам не так уж важно было, что именно она говорила, главное – как!

И вот мы сдаём ей зачёт. Сидит вся группа «стажников», у которой Светлана Михайловна безуспешно допытывается: что же главное в образе Гамлета? А я чуть припоздал – в деканат вызывали. Вхожу – и сразу некое оживление: вот, мол, Поминов и скажет это самое главное, он же у нас отличник. И я, не слишком задумываясь (ещё и Высоцкого-Гамлета вспомнил), отвечаю: «Быть или не быть – вот в чём вопрос!»

Светлана Михайловна разочарована – опять не то. После чего она терзает нас ещё минут пятнадцать и отчётливо, громко, почти торжествуя, произносит фразу: «На мне играть нельзя!» Долгая пауза... И снова её голос – так говорит человек, хорошо потрудившийся, доказавший свою правоту: «Всем зачёт!»

Конечно, нам стыдно. Мы понимаем, какие мы ничтожества и бездари. Но чувство стыда быстро улетучивается – зачёт ведь сдан.

* * *

Мадзигоны – Михаил Васильевич и Тамара Михайловна. Он читал нам Байрона и Шелли, она – русскую литературу девятнадцатого века. При этом, не зная об их родстве, было трудно поверить в то, что он – её отец.

Михаил Васильевич был уже немолод, прошёл Великую Отечественную. Внешностью обладал вполне импозантной, и обширная, всегда загорелая внушительная лысина её только подчёркивала. Речь у него была выверено-неторопливая, он никогда не спешил на лекциях, и на поэта Шелли у него ушло, наверное, с полсеместра, пока он не спохватился и не взялся за Байрона.

Всем своим студентам Михаил Васильевич любил рассказывать, как вскоре после войны обнаружил в университетской библиотеке непонятно как попавшее туда уникальное, раритетное издание сочинений Шекспира на английском языке, изданное всего в 250 экземплярах.

Он никогда не заигрывал со студентами, не стремился завоевать их расположение. Он вёл себя с нами как равный с равными, великолепно делая при этом своё дело и никогда не пользуясь никакими записями. Никогда не зверствовал на зачётах и экзаменах.

* * *

Тамара Михайловна Мадзигон напоминала мне высокую, красивую белую птицу. И ещё чуть-чуть – подростка, хотя к тому времени у неё уже было, кажется, трое детей. В отличие от отца была отчасти порывистой, что старалась скрывать. Слыла в университете либералкой и, непонятно почему, считалась идеологически не вполне благонадёжной (скорее всего, не она тому была виной, а тупоумие иных идеологически упёртых коллег).

Тамара Михайловна писала стихи и вела в университете «Поэтические пятницы», на которые, впрочем, ходили не только поэты, но и все желающие. Я – в том числе, хотя и нечасто. От неё в первый раз услышал имя и фамилию – Осип Мандельштам (тогда впервые после долгого перерыва вышел сборник его стихов).

Как-то на «Поэтическую пятницу» ввалился хмельной Лев Щеглов с нетрезвыми же «сотоварищи», произведя лёгкий фурор. Тамара Михайловна, впрочем, ничуть не смутилась (хоть этот визит для неё был неожиданным), наоборот, похоже, любовалась тем, как уже тронутый славой поэт распускал перед нами павлиний хвост.

Запомнились строки из стихов, которые он нам читал:

Снимите модное манто,
Наденьте собственную кожу.
И вас никто раздеть не сможет,
И не узнает вас никто!

На первом занятии с нами Тамара Михайловна всю пару на память диктовала список литературы, которую надо прочитать, а также учебников и пособий. (В нём было столько названий произведений и книг, по большей части мною не читанных, что я сразу подумал: чтобы прочитать это всё, мне не хватит оставшихся университетских лет.)

Не могу сказать, что лекции Тамары Михайловны легко усваивались. Она не делала скидок на наше, что уж греха таить, отсталое гуманитарное прошлое, в котором если и была литература, то преимущественно приключенческая или детская. На её лекциях надо было напрягаться и думать. Надо было тянуться за ней, что многим из нас было не под силу... А у кого-то желания не было. С каким бы интересом я сейчас ходил на её лекции! Увы...

Тамара Михайловна умерла через несколько лет, я уже работал в Павлодаре. Мне звонила землячка Наташа Тодорова, учившаяся курсом старше, просила найти древесный гриб – чагу – для Тамары Михайловны, у которой был рак...

Я вспомнил нашу последнюю встречу с ней в Алма-Ате, у Никольского рынка, через год после нашего выпуска. Она была грустна и немногословна и куда-то спешила. Может, уже знала о своей болезни и о том, что надежды на выздоровление нет. Разговор был короткий, не очень вразумительный...

Много лет спустя узнал, что кандидатскую диссертацию Тамара Михайловна защищала по Павлу Васильеву, в то время многим, в том числе и мне, практически не известному.

* * *

Воспоминания о других преподавателях остались отрывочные, фрагментарные: от кого-то эпизод, от кого-то фраза или жест.

Советскую литературу нам читал доцент Маловичко – грустный пожилой человек, у которого случилась какая-то трагедия с сыном. На самой первой лекции он сказал, что один из рассказов Горького начинается фразой «Море смеялось...». И поскольку он сделал паузу, то ли припоминая, то ли намереваясь продолжить, я негромко, но отчётливо произнёс: «Мальва!» Потому что рассказы Горького, как и его «Детство», «В людях», я читал неоднократно, любил их и содержание «Мальвы» хорошо запомнил, в том числе эту фразу, и даже пытался когда-то представить себе смеющееся море.

Вечно грустный Маловичко слегка оживился, спросил, как моя фамилия, и с тех пор на лекции всегда искал меня глазами... Надо ли говорить о том, что отличная оценка на экзамене была мне обеспечена...

Помню густые, интересные лекции преподавателей Сорокиной (жаль, что забыл имя-отчество), Берика Магисовича Желкибаева...

* * *

Русский язык вели доценты Нелисов и Барчунов. Первый напоминал рафинированного интеллигента: гладко причёсанные волосы, обязательный костюм без единой складки, своеобразная манера речи – очень чёткой и правильно выстроенной. Читал академически. Не делая поправок на то, что мы – будущие журналисты, а не филологи.

Барчунов, преподававший практическую стилистику, внешне отчасти напоминал мне меня самого: не слишком опрятный, скорее, слегка неухоженный. Подслеповатый и к тому же, кажется, прихрамывающий. Но предмет свой он знал великолепно и, по образному выражению Лёхи Закутаева, дрючил нас этой самой практической стилистикой до мозга костей. За что лично я ему очень благодарен. К сожалению, не запомнил дословно предложение, которым он проверял нас на вшивость, то есть на знание практической орфографии, – про то, как некая Агриппина Саввична на террасе близ конопляника чем-то потчевала коллежского асессора. Помню ещё, как однажды наделал ошибок в ударениях и как он мне сказал: «Поминов, я в вас колоссально разочаровался!» Впрочем, я потом реабилитировался, насобирав больше всех в группе типичных стилевых ошибок в районных газетах – типа «проезжая по мосту, с меня слетела шляпа» и тому подобных. Благо, что сделать это было нетрудно...

Почему-то мне пришлось сдавать экзамен у него на квартире. Он жил неподалёку от нашей общаги, в микрорайонах. Дома у Барчунова был изрядный беспорядок. С шумом бегали по комнатам, гоняясь за белой крысой, двое мальчишек

похожих на Барчунова. Спрашивал он меня бегло, больше для вида, давая понять, что мнение у него обо мне давно сложилось. Поставив «отлично», сожалел, что не может угостить меня горячим грогом. Кажется, не было для этого какого-то важного компонента.

Всего семестр или два был с нами Барчунов, науку которого я помню всю жизнь. Об одном жалею – что так и не попробовал его грога...

* * *

Представительный, импозантный Олег Иванович Карпухин читал курс древнерусской литературы. Он был так хорош собой, что большая часть женской половины нашего курса обмирала при его появлении – им было всё равно, что он скажет, лишь бы видеть его.

Олег Иванович это чувствовал и, может, ещё и поэтому держался чуть небрежно. Осталась в памяти коронная фраза, которую он произносил, услышав вопрос, на который у него не было ответа:

– Простите мне моё невежество, но я не знаю...

И спрашивавшему сразу становилось неудобно – дёрнул же меня чёрт вылезти с этим дурацким вопросом!

С актёрскими интонациями, вкусно преподносил нам Карпухин «Житие Петра и Февроньи Муромских», особенно то место, когда Пётр обратил внимание на другую женщину, а мудрая Февронья, предложив попробовать воды сперва с одного, а потом с другого бока лодки, подвела его к мысли о том, что сия влага с обоих бортов одинакова – равно как и женская суть...

Запомнилась фраза из «Жития протопопа Аввакума», которую так же мастерски преподнёс нам Олег Иванович. Когда жена протопопа, уже не выдерживающая испытаний, выпавших на их долю, в отчаянии спросила Аввакума: «Доколе же нам ещё так мучиться?» – он отвечал ей: «До самой смерти, матушка...» – «Ну, тогда ещё побредём», – соглашалась она...

Олег Иванович недолго проработал в университете, был выдвинут на работу в аппарат ЦК ВЛКСМ. Потом занимался в Москве творческой работой...

* * *

Иногда в коридорах главного корпуса появлялся высокий, седой, чуть сгорбленный старик... И кто-то сказал мне, что это секретарь одного из вождей революции Льва Давыдовича Троцкого, сосланного Сталиным в Алма-Ату, ещё до репрессий 1937–1938 годов. Мне и фамилию, кажется, называли, но я её не запомнил: мы были молоды и беспечны, и какое нам было дело до реликтов подобного рода...

(Когда я готовил эти заметки к печати и давал их читать однокурсникам и другим людям, мой брат Пётр, также закончивший КазГУ, только филфак, напомнил: это был Самуил Львович Ковальский – у них он преподавал историю КПСС...).

* * *

Немецкий язык у нас вела преподавательница, к которой я потерял интерес на первом же занятии, услышав из её уст «Москау» – с ударением на а. Наша же «Дарьюшка», школьная учительница по немецкому Дарья Александровна Русских (она была немка, но фамилию носила мужнюю), не раз говорила нам, что если кто-то хоть раз произнесёт это слово так – двойка тому обеспечена. Потому что ударение следует делать на о.

В университет я пришёл с приличным для выпускника сельской школы знанием немецкого, поэтому на вступительных экзаменах чувствовал себя более-менее

уверенно. А за годы учёбы в университете не только не приобрёл, но и растерял остатки того, что знал... И временами мне ещё и теперь снятся кошмарные сны: мне предстоит сдавать немецкий, а я с ужасом осознаю, что ничего не знаю...

* * *

Историю искусств вели двое – Ертис Исаевич Байзаков и экзальтированная преподавательница, фамилии которой уже не помню. А из её лекций осталась в памяти одна-единственная фраза, которой она венчала каждый свой рассказ о том или ином шедевре: «в этом прекрасном, удивительном произведении...».

Ертис Исаевич был сыном выдающегося акына-импровизатора, прозаика, одного из основоположников казахской национальной литературы Исы Байзакова, нашего, кстати, земляка, иртышанина. Лекции Ертис Исаевич читал хорошо, но, к сожалению, никогда не рассказывал нам о своём знаменитом отце. И я узнал о том, что он его сын, лишь годы спустя, работая в Павлодаре, куда Ертис Исаевич приезжал на юбилей Исы Байзакова.

* * *

Запомнилась ещё читавшая у нас философию Хорошилова – харизматичная, язвительная умница, которую студенты не просто уважали, но и побаивались, хотя мне она открылась как человек и добрый, и участливый.

* * *

А что же кафедра журналистики? Почему до сих пор о ней не сказано ни слова? Просто так много вспоминается, что не знаю – с чего начать.

Деканат журфака занимал несколько комнаток в главном корпусе на Кирова, в его правом от входа крыле. Небольшой кабинет декана, его приёмная, кафедры русской и казахской журналистики, фотолаборатория и лаборатория полиграфии... Впрочем, две последние, вечно прокуренные, напоминали, скорее, кельи, правда, отнюдь не монашеские... В одной, куда, кажется, вовсе не проникал дневной свет, многие годы квартировал преподаватель по фотоделу Юрий Константинович Редкин, а во второй – преподававший секретарское дело (газетную вёрстку, типографский набор, макетирование) Евгений Михайлович Паршуков. Он на первом же занятии сказал, что у него есть кличка – «Кегль» и что он ничего против неё не имеет, поскольку это тип и размер шрифта, а без него газеты не бывает.

Евгений Михайлович отправлял нас в университетскую типографию, где мы на личном опыте изучали – как делается газета. Каждому надо было собственноручно набрать двадцать или тридцать строк текста – вручную, из наборных касс, буква к буквке... Впрочем, за многих это делали типографские наборщицы – отчасти из сострадания, отчасти – чтобы мы не путались под ногами... Эти наборщицы были последними представительницами уходящей профессии – к тому времени даже в районных газетах стояли для набора линотипы, чем-то напоминающие длинношеих ящеров... А тогда мы должны были предъявить Кеглю оттиски набранных нами (или сердобольными женщинами – попробуй проверь!) текстов.

С первым заданием худо-бедно справились все. Со вторым было посложнее. Паршуков раздал нам оттиски газетных гранок, напечатанные тексты, из которых надо было смакетировать газетную полосу, где всё должно стоять на своих местах, без «хвостов» и пробелов.

Это был звёздный час Кегля, когда он – в одной руке строкомер, с которым он, кажется, никогда не расставался, в другой – дымящаяся сигарета в мунд-

штуке, брал в руки сляпанную студентом полосу, довольно кхекал, уличая в халтуре, и заворачивал обратно. С первого захода сдать макет не удавалось почти никому.

Мне было проще – в родном «Ленинском знамени» я благодаря ответсеку Леониду Павловичу Кишкунову чуть-чуть тямал в макетировании. Кегль это сразу понял и мучить меня не стал, а над другими поиздевался. И правильно, в общем, делал...

Галка Агафонова, собираясь к нему в третий раз, была близка к обмороку и, глядя на меня несчастными глазами, взмолилась:

– Юрочка, помоги! Я это никогда не смогу сделать!

Не понимаю теперь, почему Галка, бывшая в фаворе у Редкина (она прилично фотографировала), не обратилась за помощью к нему – они приятельствовали с Паршуковым и уж, конечно, договорились бы...

Как бы там ни было – Галку надо было спасать, тем более, что она обещала накормить меня борщом, пока я буду корпеть над её макетом.

Я провёл у неё дома полдня, не только составил, но и вылизал её макет, спрятав в нём и несколько ошибок (иначе Кегль бы не поверил, что она сама всё сделала). Да и борщ с мясом оказался просто замечательным.

А с Кеглем меня судьба свела ещё раз на пятом курсе – он был руководителем моего диплома, и однажды мы встретились у него дома. Евгений Михайлович сделал (как теперь понимаю, больше для порядка) несколько замечаний, которые я с благодарностью (так надо) принял... Он предложил отобедать. Я это воспринял как намёк сгонять в магазин (принести сразу водку с собой постеснялся).

– Обижаешь, – усмехнулся Евгений Михайлович. Нажал на какую-то педаль внизу письменного стола с двумя тумбами, у которого мы сидели. Что-то заскрипело, задвигалось, и перед моими изумлёнными глазами над столом, где только что ничего не было, возникла полка с разномастными бутылками.

– Я – водки, – сказал Евгений Михайлович, – а ты что предпочитаешь?

– Ну, тогда и я водки, – нахально отвечал я.

И мы с ним приняли на грудь, очень в меру, граммов по 150, под вкуснейшую домашнюю снедь, выставленную его супругой.

...В университете Евгений Михайлович работал и уйдя на пенсию, почти до своей кончины. Проводить его в последний путь довелось единственному из нас, Толе Егорову, – он по делам приехал в Алма-Ату, зашёл в университет, увидел объявление. Толя говорил мне потом, что народу и на панихиде было немного, а на кладбище и вовсе – единицы...

* * *

С Юрием Константиновичем Редкиным, худощавым, сутулым, прокуренным, всегда покашливающим, мы общались мало: в фотографии я был не силен, а в футбольную факультетскую команду меня не взяли... Про неё говорю лишь потому, что Юрий Константинович был её негласным тренером, и наставление для подопечных у него всегда было одно:

– Ширше играть надо, ребята, ширше!

Тем не менее лучшие из его учеников стали настоящими мастерами фотодела.

* * *

Поступал я, когда деканом журфака КазГУ был Михаил Иванович Дмитриевский – фронтовик, интеллигентный, деликатный человек, при котором на факультете

несмотря на строгие партийные времена, царила относительная вольница. Надо полагать, отчасти за неё и, в общем, за свой либерализм Дмитровский и был отставлен с поста декана, после чего наступила мрачные кожакеевские времена. Не только для студентов – для преподавателей тоже...

Михаил Иванович вёл у нас теорию и практику журналистики, газетные жанры. Лекции свои связывал с жизнью, припоминая разного рода истории. Про то, например, как пожелал талантливому выпускнику журфака Мише Полторанину, впоследствии знаменитому «правдисту» и члену первого ельцинского правительства, побольше интересных встреч. А тот, уехав по распределению в Восточный Казахстан, однажды едва ли не нос к носу столкнулся с медведем...

Любил, иногда невпопад, цитировать фразу чеховской, кажется, героини: «Давно я, грешница, лапши не ела...» Или интересоваться, приходя на лекцию: «Ну что, не утомило вас ещё высшее образование?» И теперь уже я задаю этот вопрос своим студентам.

Михаил Иванович давал нам нестандартные, требующие ума и сердца задания. Скажем, составить психологические портреты героев «Жалобной книги» Чехова. Попробуйте сделать это, когда в качестве подсказки у вас одна-единственная строка, как некий служитель культа «в рассуждении чего бы покушать не нашёл постной пищи», а с другого «проезжая по мосту, слетела шляпа», о чём они, а также другие проезжающие оставили записи в жалобной книге...

Учил нас думать. Часто цитировал нам классика советской журналистики Анатолия Аграновского: «Хорошо пишет не тот, кто хорошо пишет, а тот, кто хорошо думает».

К студентам Михаил Иванович относился на их первых-вторых курсах как к детям, к старшекурсникам – как к равным. Почти не ставил троек. Но мог вспылить, столкнувшись с явным студенческим или преподавательским хамством. А мог дешёвого портвейна с нами на старших курсах выпить, придя с проверкой в общежитие. Вспоминал – как смешно проводил с похмелья политинформацию их командир роты на фронте.

Михаил Иванович был душа-человек, хотя и не без некоторых странностей. Я его знал чуть-чуть больше других, потому что дружил с его сыном – моим однокурсником Васькой и бывал у них дома. Васька и перевёз не только свою семью, но и родителей на их историческую родину – в Орловскую область. Где и нашёл последний приют Михаил Иванович – среди милых сердцу холмов, перелесков, лесной чащи за малой речкой. Здесь, вдали от городской суеты, так просторно, так привольно, так легко дышится... Васька сказал, что Михаил Иванович сам выбрал это место. И когда я после многолетней разлуки впервые оказался у Васьки «на хуторе», мы с ним помянули Михаила Ивановича по русскому обычаю и долго сидели молча...

* * *

Юрий Алексеевич Крикунов... Он прививал нам вкус к высокой журналистике. Той, что посвящена культуре, искусству, образованию, науке... Хранил сотни газетных вырезок с публикациями, отражающими время и демонстрирующими как высокий класс журналистики, так и политико-идеологическую «заказуху». Именно после прочитанного им на лекции очерка спецкора «Комсомолки» Анатолия Стреляного «Алейский инцидент» мы зачитывались только что вышедшей повестью Леонида Жуховицкого о журналистах и журналистике «Остановиться, оглянуться...» И я спустя сорок лет помню строки стиха из этой книги, повторяемые героем повести:

Остановиться, оглянуться...
 Внезапно, вдруг, на вираже,
 На том случайном этаже,
 Где нам доводится проснуться...

Нам эти строки казались глубокими, полными большого смысла, которого в них, может быть, и не было...

Крикунов цитировал на лекции давнишний подвал из той же «Комсомолки», бичующий творческие и человеческие «загибы» кумира шестидесятых Евгения Евтушенко. Назывался материал «Куда ведёт хлестаковщина». Евтушенко в нём критиковали ещё и за то, что он осмелился опубликовать где-то на Западе свою биографию.

Обычно Крикунов читал нам публикации «Комсомольской правды», «Известий», «Литературной газеты» – в ту пору лучших газет Советского Союза, где работали мэтры советской журналистики, которым мы тайно завидовали, на которых хотели походить.

Юрий Алексеевич пытался прививать нам вкус к рецензиям – театральным и литературным. Знал и высоко ценил наш павлодарский драмтеатр, подчёркивал талант и новаторство его главного режиссёра Кузенкова. Считал, что областная газета «Звезда Прииртышья» травила его, называл при этом фамилию журналиста, который, наоборот, всегда кичился своей близостью к кузенковскому театру.

Как и Михаил Иванович Дмитриевский, Юрий Алексеевич Крикунов учил нас думать. Случалось, недоговаривал на лекциях, считая, вероятно, что мы и сами сможем нужное додумать. Одной из его фирменных фраз была: «Но тут я отправляю вас к первоисточникам...» Мы взяли её на вооружение и часто, притом по самым разнообразным поводам, использовали в студенческом обиходе.

Он поддерживал наши творческие порывы. Проталкивал в алма-атинских газетах первые наши публикации. Негласно курировал рукописный литературный студенческий журнал «Камертон», первый номер которого я храню до сих пор дома...

Именно Юрий Алексеевич благословил в университетской многотиражке мои первые «блэстки».

Думаю, что преподавательская стезя была его истинным призванием. Наверное, не будет преувеличением сказать, что он не работал, а служил своему делу – в самом высоком смысле этого слова...

* * *

Северин Степанович Матвиенко – фронтовик, заведующий кафедрой теории и практики советской журналистики. Немногословный, всегда собранный, с хитроватым прищуром, был с нами доброжелательно строг, не любил разгильдяйства, но в трудную минуту всегда становился на сторону студентов.

Он вёл у нас историю журналистики, как и Леонид Митрофанович Куканов, куратор нашей студенческой группы. Человек – отчасти загадочный и до конца учёбы нами так и не разгаданный. Знаю, впрочем, что при внешней сверхинтеллигентности и доброжелательности в принципиальных для него вещах Куканов был упёрт и непоколебим...

* * *

Всех нас, студентов, условно делили на две большие группы: будущих газетчиков и будущих радишников-телевизионщиков. И кумиром у вторых, конечно, был Марат Карибаевич Барманкулов, ещё до знаменитого фильма «Москва слезам не верит» убеждавший всех, кто приходил к нему на курс, в том, что в ближайшем

будущем нас ждёт «одно сплошное телевидение». (Знал бы Марат Карибаевич, как и большинство наших преподавателей, ушедший из жизни, насколько он окажется прав. Хотя, конечно же, он имел в виду совсем другое телевидение, а не то, что мы сегодня имеем.)

От него мы впервые узнали, что такое «спровоцированная ситуация» – телевизионный приём, когда человека перед телекамерой отчасти сбивают с толка, и он после этого полнее раскрывается.

Студенты Барманкулова любили и, особенно на первых курсах, ходили за ним – как цыплята за квочкой...

* * *

Учились мы в глухие партийные времена, когда любая идеологическая «ненашесть» жёстко и беспощадно пресекалась. Хотя, насколько я могу теперь судить, мы и без того были в большинстве своём патриотами и ни о чем идеологически чужеродном не помышляли. А если иные и фрондировали, то исключительно в рамках «социалистического плюрализма» (хотя этот лукавый термин появится с подачи автора нового мышления М. С. Горбачева лишь десять лет спустя). Словом, можно сказать, что журфак в ту пору был своего рода идеологическим учреждением, жившим по весьма и весьма строгим правилам. Иначе и быть не могло – из нас ведь готовили стойких и убежденных «бойцов идеологического фронта».

И вдруг появляется новый преподаватель – Сагымбай Кабашевич Козыбаев, выпускник Ленинградского университета. И сразу будто свежим ветром повеяло... Едва ли не свободное общение на его семинарах... Ходили слухи даже о том, что он позволяет на них курить.

Козыбаев стал редактировать на общественных началах университетскую многотиражку – и её стало интересно читать: в ней появились дискуссии о студенческой жизни, взаимоотношениях студентов и преподавателей, литературные подборки...

На его лекциях мы слышали имена первых казахских журналистов, увидели копии первых газет и журналов на казахском языке.

Он как-то очень быстро расположил всех нас к себе... Наверное, потому ещё, что с ним никогда не бывало скучно.

Именно Сагымбай Кабашевич Козыбаев стал главным хранителем добрых журфаковских традиций прошлого и создателем новых. Он учредил Национальную академию журналистики и высшую национальную журналистскую премию «Алтын жұлдыз» («Золотая звезда»). Он издал первый справочник по казахстанской журналистике и первую энциклопедию казахстанской журналистики, инициировал издание книги, посвящённой истории «Ленинской смены», из стен которой вышли многие корифеи отечественной журналистики. Он – составитель многих книг по истории казахстанской журналистики, автор ряда собственных книг самого разного жанра: от репортажей и зарисовок до очерков и эссе, отмеченных в Казахстане высшими журналистскими премиями.

А ещё он всех нас помнит, всегда привечает, опекает, поддерживает и следит за нашими успехами... Совсем недавно я получил его новую книгу и надеюсь сделать ответный подарок...

* * *

...Приказ был вывешен в деканате, на доске объявлений. Отпечатанный на стандартном листке текст гласил: «За формальное отношение к учёту посещаемости, за необеспечение руководства группой, за отсутствие личного примера освободить

от обязанностей старосты...» Дальше – моя фамилия и витиеватая подпись декана – Темирбека Кожакеевича Кожакеева.

В старосты я не стремился и был назначен им совершенно для себя неожиданно. Мой предшественник загремел с этого поста по пьяной лавочке. И всё было бы ничего, если бы не собачья доля вести журнал учёта посещаемости и ежедневно докладывать об отсутствующих декану, который с маниакальным упорством отслеживал это дело и вёл собственный журнал отсутствующих, применяя к злостным прогульщикам драконовские меры. Он либо лишал их стипендии (если таковая была), либо лишал общежития. Впрочем, иногда и наша братия ставила его в тупик. Как-то он вызвал «забывшего» на занятия Пашку Бабенко и, по обыкновению глядя на него поверх очков, опущенных на кончик носа, сказал:

– Вы не ходите на занятия, Бабенко...

Пашка молчал.

– Мы лишим вас стипендии, Бабенко, – сказал Кожакеев и сделал паузу, зная, что эта мера устрашения действует, как правило, безотказно.

– У меня нет стипендии, – хладнокровно ответил Пашка.

– Тогда мы лишим вас общежития, – не давая опомниться злостному прогульщику, запугивал Кожакеев.

– Общежития тоже нет, – вздохнул Пашка.

Тут было впору задуматься уже самому Кожакееву, ведь с подобным он сталкивался нечасто. И после недолгих раздумий он произнёс:

– Мы вот как поступим с вами, Бабенко. Мы вам дадим общежитие...

Пашка, не ожидавший подобного поворота, с удивлением смотрел на декана. А тот продолжил:

– Но если вы и дальше будете пропускать занятия, мы лишим вас общежития!

Таков был наш декан, видевший в каждом из студентов заведомого разгильдяя. Я в этом смысле оставался, скорее, исключением: на занятия ходил исправно, учился на отлично, участвовал в научно-студенческом кружке и разного рода общественных делах. И Кожакеев не только назначил меня старостой, но и представил на высшую университетскую именную стипендию – имени Карла Маркса. Она была даже на 20 рублей больше Ленинской и составляла 120 рублей в месяц (при обычной студенческой в 40 рублей).

То есть Кожакеев ко мне благоволил и надеялся, что я буду ревностно следить за посещаемостью. Я же проявлял недопустимый, по его мнению, либерализм по этой части, покрывал прогульщиков, не являлся по несколько дней на обязательные доклады... Кто-то ему (может, даже из одноклассников), наверное, «стучал» на меня, а воспитательные беседы декана со мной не помогали...

Утраченной должности мне было не жалко, а персональной стипендии (об утрате её мне тоже шепнули) жалко, и я пошёл к Кожакееву «качать права», заведомо зная, что ничего из этого не выйдет.

Я сразу признал справедливость пункта о «формальном отношении к учёту посещаемости».

– А с другими не согласен, – стал продолжать я. – Что значит «необеспечение руководства группой», когда наша группа на первых местах по успеваемости и другим показателям? Или «отсутствие личного примера»? Учусь я по-прежнему отлично, занятия не пропускаю, редактирую рукописный журнал, недавно диплом получил за научную студенческую работу...

– Ты мне тут, Поминов, не философствуй (у него звучало «Поминып» и «не писосопствуй»), – отвечал декан. – Ты игнорировал учёт посещаемости, не оправдал доверия... Мы тебя и общежития лишим...

Последняя угроза оказалась выполненной, и я какое-то время квартировал у На-таши Баталовой. Но потом Кожакеев, к счастью, ушёл в отпуск, и место в общежитии я всё же получил...

А он меня, кстати, после этого в упор не видел, хотя, конечно, знал, что учусь я по-прежнему на отлично и во всех факультетских делах участвую...

Когда он вручал нам дипломы после окончания учёбы, увидев в стопке синих и мой красный (с отличием), притворно удивился:

– А кто это у нас такой молодец? – хотя, конечно же, не мог не знать – чей это диплом, поскольку он был единственным красным в тот год на нашем русском отделении.

...Говорят, что Кожакеев был хорошим преподавателем (уже тогда – профессор), интересно вёл лекции на казахском отделении по фельетону... Мне об этом судить трудно. Кто-то считает, что и деканом он был хорошим. А вот с этим мне и всем, кто со мной учился, согласиться трудно... Но что теперь об этом говорить, когда и он уже давно переселился в мир иной... Пусть душа его покоится с миром...

* * *

Примерно раз в квартал и даже чаще стены второго этажа облепляла факультетская стенная газета «Журналист», тянувшаяся по стенам на десятки метров. Время, повторяю, было по-партийному строгое, а эта газета – интересная. Её читали. Иногда даже дискуссии возникали – как, например, после заметки о том, как бомжиха прикурила от Вечного огня в парке гвардейцев-панфиловцев.

Эта стенная газета была куда содержательнее университетской многотиражки, содержание которой стало меняться в лучшую сторону лишь с приходом С. К. Козыбаева, редактировавшего её на общественных началах. Мы на первом курсе готовили спецвыпуск многотиражки, приуроченный к 25-летию её первого номера. Я его сохранил, там есть наша фотография – всех тех, кто её делал: Пашки Бабенко, Витюши Онгемаха, Сереги Ли, Людки Клыковой, Людки Шумахер, На-таши Баталовой и моя...

Серегу Ли, Витьку Онгемаха и Людку Шумахер я не видел после окончания университета ни разу...

А факультетская стенная газета «Журналист» памятна мне и тем, что я впервые прочитал в ней на третьем курсе стихи первокурсницы Ольги Григорьевой. Они мне сразу понравились, и я подумал, что надо бы с ней познакомиться... Знакомство состоялось и закончилось пару лет спустя нашей свадьбой. Но это, впрочем, особая история...

Однажды она прислала мне по почте из Минска, куда ездила на зимние каникулы, письмо с коротким стихотворением, первую строчку которого предложил ей я. Я храню этот тетрадный листок с её стремительным, летящим почерком...

Напиши мне письмо на берёзовых свитках

В необъятности снегом покрытых полей.

А в конверт не клади слов застывшие слитки –

Лишь немного тепла и заботы своей.

Пусть не буквы в словах, а разбухшие почки –

Я, тебя дожидаясь, весну тороплю.

А в конверт положи лишь одну только строчку –

Лишь одну только: помню тебя и люблю!

Напиши мне письмо на берёзовых свитках
 В необъятности снегом покрытых полей.
 Тот конверт оберни не почтовой ниткой,
 А тесьмой улетающих вдаль журавлей.
 Напиши мне письмо...

ОБЩАГА

Первые годы мы жили в десятом микрорайоне – в «нархозовских» общагах, арендованных нашим университетом у института народного хозяйства... Причём наше общежитие едва ли не впритык стояло к штабу Среднеазиатского военного округа, который мы именовали меж собой Пентагоном... Иногда мы видели стоящую у ворот, ведущих на территорию штаба, «чайку» командующего округом. Кажется, им был будущий министр обороны СССР Дмитрий Тимофеевич Язов.

Жили мы в комнатах на три и на четыре человека, по секциям: в каждой по две «четырёхместки» и две «трёхместки». Меня подселили к второкурсникам, которые сходу взялись мне доказывать, что они-то состоявшиеся студенты, а я – никто... И вскоре я переехал в «четырёхместку», тоже к второкурсникам: добродушному немногословному Грише Девятову и строговатому, резкому в движениях Толе Уколову. Во взаимоотношениях с ними у нас никогда никаких проблем не возникало. Позднее к нам подселили моего однокурсника Пашку Бабенко. Забегая вперёд, скажу, что потом судьба сведёт меня и с бывшими двумя «воспитателями», один из которых будет отчасти зависим от меня, но я никогда не стану напоминать ему о тех временах, когда «он был уже студент второго курса, а я никто...».

Комнаты, в которых мы жили, были довольно просторными, стоял один стол на всех, были простенькие встроенные шкафы с отсеками для каждого. Спали мы на кроватях с панцирными сетками. Да, ещё немаловажная деталь: в каждой секции (то есть на четыре комнаты) стояли также умывальник и унитаз. Словом, жить можно было...

На каждом этаже была просторная кухня с электроплитами. Здесь я как-то в один заход нажарил три или четыре сковородки картошки (мне её по случаю забросили целый мешок), сам оставшись полуголодным, поскольку съедали её быстрее, чем я успевал принести очередную порцию... Но вообще-то по прямому назначению кухни использовались не так уж часто. Чай кипятили главным образом в комнатах, а с приготовлением других горячих блюд мои братья-студенты старались не связываться. На кухне назначались свидания, происходили объяснения в любви, иногда здесь спорили о смысле жизни...

Здесь нам читал свои стихи ещё не признанный факультетский поэт:

Глоток, стакан, бутылку, бочку...
 Не день, не два, а много лет
 Мне страшно оставаться ночью
 С безумным хмелем тет-а-тет!

Учиться в общаге – в этом вечно гудящем улье – было трудновато, но жить, повторяю, было можно!..

Одно время в нашей комнате жил некто Гена Ш. Я спал у двери, очень чутко, и проснулся однажды рано утром от едва слышного шебуршания. Потом послышался чей-то шёпот:

– Имею в значке пять «плакушек»...

– Знаю дислокацию трёх «плакушек», – прошептал невидимый мне его собеседник, в котором я чуть позже распознал его однокурсника по кличке «старик Д».

– Даже на «сестёр Федоровых» не хватает, – горестно констатировал первый шёпот...

Теперь я понял – речь шла о дешёвом вермуте с пляшущими девицами на этикетке.

В комнате тем временем воцарилось тягостное молчание.

– И занять не у кого... До стипендии два дня... – это опять второй шёпот.

– Пойдём. Может, по пути ещё попадётся. Я знаю одно место... – неуверенно сказал первый.

Чуть звякнули невидимые «плакушки», и собеседники удалились.

...Никто и никогда не видел Гену Ш. с учебником в руках, но – поразительное дело – экзамены он, как правило, сдавал хорошо. В день экзамена вставал первым, тщательно брился, гладил свои единственные брюки. Возвращался уже навеселе. Следы его затерялись где-то в Гурьеве (ныне Атырау) или в Уральске. А собутыльник его стал известным писателем и журналистом... И, кстати, уже много лет по части спиртного он в полной и окончательной «завязке».

* * *

Иногда у нас в комнате ночевал легендарный Вася Елисеев – старшекурсник с ангельскими кудрями и обличем херувима, у которого всё своё всегда было с собой и умещалось в портфеле.

Вася уже тогда писал не как все, а красиво и изящно, находя какие-то особые извивы и повороты речи...

Я, нахватавшийся за два года штампов и канцеляризов районки, тайно ему завидовал, понимая, что так, как он, не напишу никогда. К тому же у Васи были обширные знакомства в столичных газетах, он был вхож в «Ленинскую смену», где я безуспешно пытался опубликовать свой очерк о поездке в Шушенское по Ленинским местам. Вася всякий раз уверял: «Старик, я обо всем договорился, на этой неделе выйдет!» Но материал так и не появился...

У нас Вася спал на свободной кровати, а если все их хозяева были дома – на столе, который мы пододвигали к широкому подоконнику, служившему в этом случае подушкой...

Потом Вася работал в той самой «Ленинской смене», где его авантюрный талант, подкрепленный невероятным обаянием, пышным цветом расцвёл в конце восьмидесятых и начале лихих девяностых прошлого века. Он стал кем-то вроде коммерческого директора «Ленсмены», создавал какие-то фирмы, подсобные предприятия, прокручивал деньги... Мог стать, наверное, если не богатым, то уж точно не бедным человеком. Но по натуре он был всё же не бизнесмен, а свободный художник, и в итоге, как и большинство из нас, остался почти ни с чем.

Последний раз мы виделись с ним больше десяти лет назад: Вася приезжал в Павлодар организовывать то ли международную конференцию, то ли фестиваль (или это было мероприятие по типу «два в одном»), посвящённый борьбе со СПИДом. Был он абсолютно трезв, респектабелен – в дорогом строгом пальто и дорогой шапке. Попросил «пропиарить» будущее действо, что я и сделал. На том всё и закончилось.

А ещё какое-то время спустя мне попала в руки его книга «Повесть о первой любви», посвящённая «Ленсмене» и ленсменовцам разных времён. Написана она

была тем самым красиво-изящным, странноватым стилем, полна щемящей грусти и таинственности. Наверное, ничто и никогда не сможет уже изменить Васю Елисеева...

* * *

Я вырос в такой глуши, где даже телевизоры стали появляться лишь в конце 60-х годов прошлого века. И то – в единичных экземплярах, потому что сюда не доходил телевизионный сигнал. Самые нетерпеливые устанавливали во дворах длиннющие антенны, сваренные из металлических труб и прочего металла. Чтобы поднять такую антенну, собиралось до десятка совхозных мужиков, задействовали ещё в качестве тягача машину или трактор. И – о чудо! – на экране, напоминающем кипящее варево, возникала смутная картинка... Чтобы посмотреть телевизор, устанавливали негласную очередь. Однажды и мне посчастливилось попасть на такой просмотр к однокласснику Леньке Маноскину, чей отец – газосварщик – и смонтировал во дворе первую телевизионную антенну. Замечу, что «чудо 20 века» особого впечатления на меня не произвело, и потом, как и до этого, я отдавал предпочтение старому доброму киноэкрану в совхозном клубе, радиоспектаклям «Театр у микрофона», а более всего – книгам.

Словом, к телевизору я долгое время оставался равнодушным – даже после того, как он появился у нас дома (в нескольких десятках километров от совхоза установили ретранслятор). Я тогда учился уже на третьем курсе. Сосед же по общежитской комнате (причём старший из нас четверых) без телевизора жить не мог, уговорил скинуться и взять «ящик» напрокат, что мы и сделали. После чего у нас началась совсем весёлая жизнь, особенно когда шёл показ знаменитого и доселе сериала «Семнадцать мгновений весны». Я однажды подсчитал: на просмотр очередной серии набилось 25 человек – по полтора телезрителя на каждое мгновение...

К счастью, какое-то время спустя телевизор сломался и недели три молчал. Потом кто-то из общежитских умельцев его всё же починил, и мы решили вернуть «ящик» в пункт проката – от греха подальше...

В этом общежитии меня крупно обворовали. Я получил свою именную стипендию за летние месяцы – что-то больше 200 рублей – и 120 отложил на новый костюм. Бумажки – 12 десятков – засунул среди учебников в своём шкафчике. А когда спустя неделю или две собрался, наконец, в магазин, обнаружилась пропажа. Я сразу даже не поверил, что деньги украли, но, раз десять перебрал и перелистав книжки, убедился – их нет. Воришку, само собой, так и не нашли. Помню, мне не столько этих денег жалко было, сколько обидно. Хотя я на них, не роскошествуя, мог прожить почти три месяца...

* * *

А общежитские любви и драмы! Сколько их до сих пор хранят те комнаты, кухни и коридоры!

Молодой лейтенант, запавший на старшекурсницу-перестарку (ей было, кажется, лет двадцать пять – двадцать шесть), слегка манерную, белокурую и белотелую Вику, и ночи напролёт пропадавший вместе с ней под окнами общаги... Однажды мы с ним сутки искали её по всей Алма-Ате. Лейтенанту выпало счастье служить за границей, притом в Европе, но одним из условий была женитьба, и он в очередной раз хотел предложить Вике руку и сердце. Вику мы в тот раз так и не нашли – она была на преддипломной практике, где-то далеко... А на память от безутешного лейтенанта (и в знак благодарности – за сострадание) у меня остался его офицерский ремень, который до сих пор цел. Правда, застегивается у меня на животе, причём

не без труда, на последнюю дырочку... И я порой вспоминаю лейтенанта, а Вику, которая (не знаю уж, в шутку или всерьез) ещё тогда пророчила мне редакторское кресло, почему-то не вспоминаю.

Зато помню, как прибежала к нам в комнату третьекурсница, зарывалась лицом в оставленную на кровати несвежую рубашку однокурсника, дышала сквозь неё и говорила, задыхаясь:

– Если бы он только знал... Если бы знал... Ведь я ради него готова на всё...

Он же от неё буквально шарахался...

Или вот ещё... Ночные откровения... Пора спать, но не спим, слушаем горестный рассказ одного и историю грехопадения другого:

– Вы понимаете, – чуть не плачет первый, – она уже готова была... Готова... А я не смог...

Молчим. Потом – второй голос:

– Ну и не переживай. Просто тебе на первый раз опытная баба нужна, которая всему научит. У меня как раз такая была, сама вела к этому делу. Но в первый раз всё так быстро случилось, что я даже ничего ни понять, ни почувствовать не успел... Стыдно только было, неудобно как-то...

Молчим. Потом третий робкий голос:

– Ну, а потом?

Мы затаились в надежде – расскажет?

– Зато дальше всё как по маслу пошло... – снова второй голос. – У меня был ключ от зимнего гаража, где стоял старый диван. На нём мы с ней по полночи и кувыркались. Она старше была – года на три или четыре, всяким штукам обучена, ещё и меня воспитывала: надо, мол, не только о себе думать, но и о том, как женщине доставить удовольствие...

– Ну и как ты – доставлял? – опять третий голос.

– Да уж не обижалась потом, – с лёгкой усмешкой отвечал рассказчик, – как-то даже сказала: «Ну и укатал ты меня сегодня!»

Ещё помолчали, и рассказчик, позёвывая, добавил:

– Вы не думайте только, что я большой мастер по этой части. Просто дело это нехитрое. Разве что – кому как повезёт. Мне вот тогда тоже повезло – триппером первая любовь наградила. Пришлось лечиться... Поздно уже, мужики, давайте спать.

Как будто легко было уснуть после таких воспоминаний.

Но оставим в покое общежитский «Декамерон», где столько всего было: истинных и скоротечных любовей, романтических грёз и обоюдных обманов, трагифарсов и драм... Людка и Вовка, Любка и Хохол, Лелька и Касым, Лёха и Светка... Что-то забылось очень скоро, а что-то с годами больём поросло... Но у кого-то до сих пор ноют былые любовные раны...

* * *

Глубокая ночь. Просыпаюсь от чых-то чертыханий за дверью. Прислушиваюсь – нет, вроде кто-то стихи читает... Может, почудилось спросонья? Да нет же: то стихи, то опять чертыхания...

Выглядываю в коридорчик секции и вижу всклокоченного Сашку Водолазова, из ушей которого торчит вата. А в руках у него – томик поэзии вагантов. Их Сашка и читает – едва не в полный голос.

Я настолько ошарашен происходящим, что даже спросить ничего не могу...

– Сосед храпит, – вытаскивая вату из обращённого в мою сторону уха, говорит Сашка.

И я явственно слышу мощное, с переливами, рокотание из комнаты, что напротив нашей...

* * *

Другая ночь... Я в комнате один, уже лёг, но ещё не сплю. Слышу – ко мне стучат.

– Входите, – говорю, – открыто.

Никого нет. Потом снова стук.

– Да входите же, не заперто, – повторяю.

И опять никого нет. Потом голос – слегка обиженный:

– Как я войду, если у тебя балкон закрыт?

Это Пашка залез ко мне на четвёртый этаж по лестнице, прихваченной с соседней стройплощадки. Открываю ему балконную дверь. Карманы брюк у него оттопырены – в них по бутылке портвейна.

– Вот, – говорит, – решил тебя навестить...

* * *

...Живем на КазГУграде – в новых, только что отстроенных общежитиях, куда мы, журфаковцы, перебрались одними из первых. Неподальёку строится новый главный корпус университета, рядом с нашими достраиваются другие общаги. Кругом зелено: это полузапущенный парк, а наш с Толяном балкон и вовсе обращён к Ботаническому саду, до которого рукой подать. И хотя он огорожен высокой бетонной стеной, мы знаем, как туда попасть: в заросшем углу старого парка есть пролом.

Через него мы и полезли однажды ночью с Людкой Яшной, чтобы нарвать цветов ко дню рождения Толе Егорову. До роскошного розария добрались быстро, но он оказался хорошо освещённым и просматривался со всех четырёх сторон. Выждав какое-то время и убедившись, что никакой охраны нет (а дело было около полуночи), двинулись к цветнику. Где нас тут же застучал непонятно откуда появившийся охранник в милицейской форме.

Дело могло принять очень плохой оборот, потому что мы с Людкой покусились на какие-то очень редкие, суперэлитные розы. Но ей удалось так заморочить голову охраннику, оказавшемуся, кстати, заочником «казгушного» же юрфака, что он великодушно разрешил нам нарезать целый букет, и ещё помогал выбирать...

Когда мы с Людкой предстали перед Толиком с этим букетом во втором часу ночи, он едва не потерял дар речи. Думаю, таких цветов ему больше не дарил никто и никогда. Но и мы никогда больше таких набегов не совершали...

Правда, уже с Толей мы как-то решили нарвать яблоч в саду, росшем неподалёку, сразу за автострадой. Пошли на рассвете в надежде на то, что и сторожа в эту пору ещё спят. Увы, нас застиг объездчик с ружьём и двумя здоровенными собаками. И отправил восвояси ни с чем...

* * *

В первые две зимы в общаге было холодно. Особенно мёрзли южане. В комнате у соседней – худющий трясущийся Серега Ли – мечтательно, с расстановками:

– Щас бы бабу... Большую-большую... И тёплую-тёплую... Прижаться к ней... И спать, спать, спать!

* * *

Незабываемая картина воскресным утром. Демонстрирующий мужскую силу Касым – с чайником, висющим у него чуть пониже живота...

Он же, где-то около полуночи, скребётся к нам в комнату:

– Стипендиат, – это он мне, – у тебя сало ещё осталось?

Сало мне время от времени присылала в посылке мать, и мы все им подкармливались, Касым же обычно стойко воздерживался. Но голод не тётка...

– Касым, тебе же нельзя, – пытаюсь его подначить.

– Да ладно, – шипит он в ответ, – сало где? И хлеб есть?

Не вставая, отвечаю, что сало на балконе, а хлеб в тумбочке. Он, чертыхаясь шепуршит в темноте, сначала на балконе, потом в тумбочке, и, наконец, довольный удаляется.

* * *

Случалось, мы выпивали в общаге. И однажды, как обычно, «не хватило», притом глубокой ночью, когда взять горячительного негде, а душа у всех просила добавки. И Касым вызвался достать. Пустили шапку по кругу, набралось рублей что-то около десяти: пятёрка – на такси и пятёрка – на бутылку водки по ночному тарифу. Поехали Касым с Вовкой Леевым. Их не было часа три. У большинства из оставшихся и аппетит пропал, кто-то вовсе уснул... Оказалось, «знатоки» объехали все значные места и уже возвращались домой несолоно хлебавши, когда таксист поинтересовался:

– А что вы искали, парни?

Услышав ответ, остановил машину, открыл багажник и выдал вожденную поллитру. Благо, у них деньги ещё оставались...

Мы, конечно, выпили и её, но уже без всякого удовольствия...

* * *

Как-то у нас чуть-чуть не хватило денег до стипендии. И почему-то взять было не у кого. Людка Яшная призвала нас с Вовкой Леевым в воскресенье пред свои светлые очи, заставила вывернуть карманы. Набралось что-то около рубля. Я сразу сказал, что мне нужно как минимум 20 копеек на проезд – поеду к совхозным знакомым, где, по идее, должны покормить. Поколебавшись, Людка мне эти 20 копеек вернула, Вовке сказала, чтобы сидел дома, а сама пошла в магазин на Весновку.

Я уехал к знакомым, расчёты мои на обед оправдались, но я у них подзадержался и, возвращаясь, думал, что неплохо было бы сегодня и поужинать. Только где?

В комнате меня ждала записка: «Стипендиат! Борщ на балконе. Жри!»

Я полез на балкон – и глазам своим не поверил: наша «семейная» кастрюля литров, наверное, на пять, была почти полна! Борщ Людка сварила из куриных голов и лапок, которые стоили тогда копеек двадцать пять – тридцать за килограмм. Овощи тоже были очень дешёвы. Но ведь до такого эконом-борща надо было додуматься!

Мне его никогда не забыть. И даже теперь я иногда покупаю этот «джентльменский набор» и прошу домашних сварить мне куриные головы и лапки.

* * *

Наша общага – одно из самых дорогих воспоминаний нашей студенческой поры. Воспоминания эти – самого разного свойства, они – как детский калейдоскоп, в котором яркие картинки быстро сменяют друг друга и почти никогда не повторяются.

...Я болею – подвернул ногу, у меня растяжение стопы. Подобное уже случалось, и я знаю, что это – не на один день. Людка Подорожко с младшего курса берётся меня поставить на ноги за сутки: обильно смачивает одеколоном тряпицу, плот-

но укутывает её стопу, упаковывая затем всё это в два целлофановых мешочка и перевязывая их сверху верёвочкой, чтобы одеколон быстро не выветрился. А сверху на эту конструкцию Людка надевает шерстяной носок. Я не слишком верю в чудодейственность метода, но когда утром стаскиваю с ноги все одёжки, вижу, что опухоль почти спала; стопа хоть и побаливает ещё, но на неё уже можно осторожно опираться.

А в те два дня, пока я лежал с больной ногой, впервые прочитал «Мастера и Маргариту» Булгакова, прежде мне неведомого.

В общаге же я отмечал с однокурсниками нашу с Ольгой свадьбу, праздничный стол для которой подготовили общежитские девчонки-однокурсницы. Мы так весело и бесшабашно гуляли на ней... А поддатая Галка Агафонова от имени женской половины нашей группы ещё и воспитывала Ольгу, наказывая ей беречь меня...

* * *

Лучше всего, конечно, здесь было весной. Весна в Алма-Ате сама по себе чудо, но в этом слегка запущенном, укромном уголке города, где как-то очень быстро, враз зацвели яблони и покрывали ярко-жёлтым ковром землю цветущие одуванчики, было не по-земному даже, а райски живописно...

И как ласково грело весеннее солнце наши спины, когда мы пили пиво у пивнушки на Весновке, сидя на уже тёплых камнях... И засушенного до звона, белого от соли лещика с ладошку нам хватало на пятерых...

То было действительно прекрасное время... Ещё и потому, наверное, что мы были молоды и беспечны... И нам казалось, что всё ещё впереди...

ОДНОКУРСНИКИ

ПАШКА

Судьба каждого из моих университетских друзей достойна романа. По части жизненных невзгод, выпавших на их долю, умения держать удары жизни и по тому, как они смогли распорядиться «родительским капиталом» и собственными талантами...

Нас было четверо. Пашка, Толян, Васька и я. И начну я, пожалуй, с Пашки, которому, может быть, с самого детства было дано больше, чем каждому из нас. Единственный ребёнок у родителей. Более чем благополучная семья. Отец – редактор единственной в Казахстане, да, наверное, и в СССР, районной газеты, выходящей одновременно на трёх языках – русском, казахском и узбекском. (Да, такое было: здесь, в одном из районов Южного Казахстана, кроме русских и казахов, а также людей других национальностей, издавна жила значительная узбекская прослойка, для которой издавали газету на их родном языке.)

Так вот, Пашкин отец, авторитетный в районе и даже в области человек, труженик из тружеников, подростком сопровождавший эшелоны с грузами для фронтов Великой Отечественной, эту уникальную трехязычную газету много лет редактировал. Мать работала в райкоме партии (не на руководящих, правда, должностях). Словом, в детстве своём Пашка, в отличие, скажем, от нас с Толиком, чьи семьи если и не бедствовали, то жили бедновато, никогда ни в чём не нуждался. Тем более что ребёнком был желанным и любимым. Баловали его или нет в детстве – не знаю. Но не обижали – точно.

На нашем курсе, где собралось немало ярких, подчас экзотических фигур, Пашка выделялся некоторой вальяжностью, скептическим отношением к действительности, ироничностью. Он не был, разумеется, ни антисоветчиком, ни диссидентом, однако на многое (в отличие, опять же, извините за повтор, многих из нас) имел свой взгляд, поскольку уже к тому времени был достаточно образован. Коренастый, белокожий, всегда опрятно и со вкусом одетый, уверенный в себе и к себе располагающий, он был замечен в любой компании. Его примечала наша женская половина хотя в ту пору он был ещё невинным и сильно страдал по этому поводу.

Пашка, если можно так сказать, не столько жил, сколько странствовал по жизни: неспешно и стараясь получить удовольствие. И учёба никогда не была в числе его жизненных приоритетов. Напрягаться он не слишком любил....

Так бы он, наверное, ни шатко ни валко университет и закончил, если бы не одно происшествие. Однажды они с Васькой, студенты второго курса, обмыв стипендию, возвращались домой. На улице им показалось, что одна из телефонных будок стоит не на месте. Они начали её переставлять, а когда один из прохожих попытался их вразумить, стали «вразумлять» его...

Ночь провели в медвытрезвителе, что уже само по себе влекло за собой исключение из университета. А на них к тому же завели уголовное дело, инкриминируя злостное хулиганство.

Дело, к счастью, удалось замять, включив разного рода рычаги, но из университета оба были отчислены. Правда, с правом восстановления после трудового перевоспитания на строящемся в ту пору новом комплексе КазГУграда на Весновке. Но если Васька сразу пошёл перевоспитываться и был восстановлен уже через несколько месяцев, то Пашка сперва вольтанил, потом ему не давали нужных документов, и он был восстановлен почти через год, отстав от нас на курс.

Похоже, интерес к учёбе он за это время потерял окончательно. Из общаги перебрался на квартиру, где-то подрабатывал, большей частью сибаритствовал, набирал всё больше «хвостов» по зачётам и экзаменам...

Мы с ним всё это время продолжали не только общаться, но и дружить. Он заглядывал ко мне в общагу, часто через балкон, с помощью лестницы, позаимствованной неподалёку на стройплощадке. Мы по-прежнему выбирались в театр и в горы, нам было интересно вдвоём.

В конце концов Пашку в очередной раз отчислили – за неуспеваемость, и ему пришлось идти в армию. Я ездил его провожать. Приехал утром, дома у них никого не оказалось, и я присел покурить в садовой беседке, увитой виноградом. Была весна, всё вокруг благоухало. Я и потом не раз побываю в их доме, но тот первый приезд помнится больше всего – то был просто райский уголок.

Пашка на проводах был спокоен, пожалуй, даже беспечен. Наверное, ему казалось, что армия переменит его жизнь. Но этого не произошло. Служил Пашка на Севере, в Северодвинске, писал мне письма – сначала часто, потом всё реже. После он перевёлся на заочное отделение. Но учёбу так и не закончил.

Судьба и позднее нас не раз сводила. Одно время Пашка взялся выращивать цветы на продажу и как-то прилетел ко мне в Павлодар вместе с другом и двумя вместительными чемоданами тюльпановых бутонов. Моя жена, зайдя утром в ванну, поразилась – та была полна нераспустившихся тюльпанов.

Происходило это перед самым 8 Марта, а цветы в ту пору были в большом дефиците, и уходили их тюльпаны влёт. За два дня они выручили чуть больше тысячи рублей – тогдашнюю мою более чем полугодовую зарплату. Хотя если подсчитать всё до того потраченное – на рассаду и уход, на дорогу туда и обратно, на взятки милиционерам в двух аэропортах, да ещё поделить на двоих... Почти что ни хрена.

как говаривал один мой знакомый механизатор. И тем не менее вдохновлённый первой бизнес-удачей Пашка сделал моему семейству подарок – купил шесть гнутых венских стульев, часть которых и по сию пору цела (кто бы их ещё починил?).

К цветочному бизнесу Пашка охладел довольно быстро – и хлопотно, и затратно, и конкурентов масса...

И он переключился на фотографию. Об этом его занятии, которым он увлекался ещё в студенчестве, я знаю мало. В конечном счёте и оно ему разонравилось – то ли оказалось неприбыльным, то ли по какой-то другой причине.

Потом Пашка торговал лесом. Ездил на Север, заключал какие-то договоры, менял лес на казахстанское зерно, ещё на что-то... И не раз оказывался то по делам, то проездом у меня дома. И тут с кем-то встречался, о чем-то договаривался, довольно подолгу жил. Мне казалось, что для начинающего бизнесмена он ведёт себя уж как-то очень вольготно, не шибко загружаясь делами. Заводил романы – скоротечные и подчас тянувшиеся годами.

Кажется, как раз в ту пору у него случилась большая любовь. И когда возлюбленная предпочла ему другого, он позвонил мне однажды ночью и без всяких предисловий предложил спеть с ним на пару по телефону «Последний троллейбус» Окуджавы. И мы пели, вернее, бормотали речитативом, разделённые полутора тысячами километров, нашу любимую студенческую:

Когда мне невмочь пересилить беду,
Когда подступает отчаяние,
Я в синий троллейбус сажусь на ходу,
Последний, случайный...

Я был при этом до неприличия трезв, и, наверное, ещё поэтому повергал в изумление домашних. Пашка находился, скорее всего, в подпитии; наверное, ещё и поэтому его любовное страдание вылилось в столь странную форму.

В родном селе он начинал строить большой дом. Купил оборудование для пекарни. Казалось, ещё вот-вот, и жизнь его по-настоящему наладится. Были уже жена и дочь-школьница. Но так он был устроен – ничто и никогда не доводил до конца. Вместо прибылей копились долги, пришлось продать не только пекарню, не выдержавшую конкуренции, но и недостроенный дом, родительскую машину... А долги всё ещё оставались, он звонил мне, просил «хотя бы тысячу долларов». Что-то я ему отправлял, зная, что он не вернёт...

После Пашкиных неудавшихся бизнес-затей мы виделись ещё несколько раз. На встрече с однокурсниками в Алматы, куда я зазвал и его. Конечно, мы все за минувшие 25 лет не помолодели. Пашка как-то поблёл и будто слегка усох, хотя и пытался куражиться. Говорить нам с ним, в сущности, было не о чем. К концу встречи он и вовсе потерялся. Возник через несколько дней, позвонив мне... На вокзале в Алматы подцепил бомжиху-корейку, привёз домой, к жене и родителям, и с неделю «пользовал» её в качестве наложницы...

Потом и жена ушла. Пашка одно время пытался работать в газете, которую когда-то редактировал отец, но его вольнолюбивая натура, конечно же, не перенесла газетной рутины. И Пашка вновь остался не у дел...

Мы виделись последний раз, когда его главным занятием стало выращивание свиней на продажу – дома, в клетках. Жил Пашка по-прежнему с родителями. Отец уже несколько лет лежал полупарализованный. Ухаживавшая за ним мать слеpla. Ей давно рекомендовали операцию, но она не могла оставить мужа без присмотра или доверить его Пашке.

А что же Пашка? Передо мной был пятидесятипятилетний мужик с некогда голубыми, а теперь выцветшими глазами. Передвигался он неуверенно, как будто всё время опасаясь чего-то...

Ему столько было дано когда-то! А позади громоздились только руины: бездарно потраченная собственная жизнь; бывшие друзья, у которых после встреч с ним оставались главным образом тягостные воспоминания; женщины, большинству из которых он в лучшем случае едва не испортил, а в худшем – испортил жизнь; дочь, стеснявшаяся отца и чаще всего не желающая его видеть; родители, надежды которых он не только не оправдал, но и жизнь которых на склоне их лет далеко не облегчил... Почему так сложилась его жизнь? Кто и что тому виной? Зачем он вообще жил? Я не знаю...

Он был одним из самых близких мне людей. И эти заметки о нём я писал с тяжёлым сердцем, всё время сомневаясь: надо ли вспоминать об этом и об этом, ведь было же и хорошее, светлое? Доброе тоже не забывалось и не забудется. Хочу лишь заметить, что я не судья моему другу и хотел бы скорее защитить его, чем осудить. Но ничего с собой поделаться не мог – и написалось как написалось...

ТОЛЯН

Судьба самого близкого из моих университетских друзей может служить примером жизненной стойкости. Мы были родственные души – из простых, не обременённых достатком семей, в университет поступили без блата и хорошо понимали, что рассчитывать в этой жизни можем только на себя.

Когда нас переселили в новую – «казгуградовскую» – общагу, мы с Толяном заняли в ней «двухместку» и жили там до самого окончания университета. Условия в ней были царские: комната – на двоих, у каждого персональный письменный стол с тумбочкой и тахта, на двоих – вместительный шкаф для одежды. Плюс туалет и душ на секцию из двух комнат (рядом была «трёхместка»). Да ещё отдельный балкон, выходящий к Ботаническому саду, в котором упоительно пели по весне соловьи, не давая нам по утрам спать...

Осталась ещё шутливая ода (подражание Петrarке) – посвящение Толе Егорову, написанная Ольгой Григорьевой.

Благословен день, месяц, лето, час
И миг, когда наш взор те очи встретил...
Благословен тот лес – и даже ветер –
Бельё сушащий в камере у вас!..
Благословенны жалобы и стоны,
Коими нарушал он сон общаг,
Вернувшись от филфаковской Мадонны.
Благословенны мы, что столько слав
Упомним в день рождения. А оны –
Ярки, как взрывы с вашего балкона!

«Каморой», то есть камерой, мы с Толей Егоровым именовали нашу общежитскую комнату.

О таких условиях можно было только мечтать, тем более что плата за общагу была чисто символическая – что-то около десяти или двенадцати рублей за год при обычной студенческой стипендии в сорок рублей.

Заселившись, мы купили с Толяном шторы, по которым плыли в неведомые дали корабли под парусами (что должно было создавать нам бодрое, жизнерадостное мироощущение, именуемое по-учёному оптимизмом), электрочайник (в нём иногда даже покупные пельмени пытались варить, но оказалось – это неудобно), электроплитку, сковородку, кастрюлю. И жили душа в душу, хотя, бывало, и поругивались «за жизнь», в чём чаще я, а не Толян был виноват.

Мы хорошо, ровно учились, были людьми твёрдых убеждений. Нам не за что было ненавидеть советскую власть, давшую нам возможность учиться в лучшем вузе республики и жить в это время в таких условиях. За все годы учёбы я в целях экономии времени ни разу не ездил в Алма-Ату и обратно на поезде – только на самолётах летал. Перелёт по студенческому билету стоил сначала десять, а потом двенадцать рублей. Но это так, к слову...

Мы с Толей безоговорочно доверяли друг другу, сообща переживали выпадавшие на нашу долю невзгоды и первые любовные драмы. Мы вместе ходили в горы, ездили в стройотряд. Однажды я уговорил его поехать к нам домой на зимние каникулы, где мы устраивали в заваленных снегом берёзовых колках охоту на зайцев, а застрелил мой друг, если не ошибаюсь, всего лишь сороку.

В наших берёзовых колках он чувствовал себя как рыба в воде. Это меня удивляло. Он всё объяснил: «Родился я в суровом дальневосточном краю; куда ни глянешь – бескрайние сопки Сихотэ-Алиня и уссурийская тайга... Жизни тогда учились у старших. Дед Илья учил определять расстояние на глаз и на слух, ориентироваться по солнцу, по луне, по просекам в лесу, по Полярной звезде, по признакам местности, по тени, с помощью веток на пройденном пути и даже... самодельного компаса. Спичечный коробок – длиной пять сантиметров, а гильза патрона – семь. Зяблик встаёт в два часа ночи, малиновка – в три, перепел – в четыре утра, а засона воробей – в шесть!» Толян закончил тогда свой спонтанный монолог словами о том, что пустынь он побаивается, к степям его душа не лежит, но даже в самом дремучем и бескрайнем лесу он не заблудится никогда... И в это верилось!

Позже, когда Толины родители надумали строить дом (ох и тяжёлый это был труд!), мы с ним помогали им в этом.

В годы учёбы нам с Толей посчастливилось встретить свои половины, и не так давно мы с немалым удивлением констатировали, что наши пары – единственные сохранившиеся из всех созданных в пору учёбы на нашем курсе. Толян был дружкой на моей свадьбе, а я – одним из свидетелей на его.

И вот – распределение. Я уехал в Павлодар, в областную газету, где меня уже ждали, а Толя – в Восточный Казахстан, в районную газету. Затем он вернулся в Алма-Ату – работал в республиканской детской газете «Дружные ребята» (в ту пору – сверхпопулярной), на республиканском телевидении, в «Казахстанской правде». О работе в последней многие журналисты той поры могли только мечтать. Толя в ней быстро закрепился, но он был уже женат, а шансов на получение жилья в ближайшем обозримом будущем не просматривалось. И он принял предложение одного из бывших казправдинцев, который был назначен редактором кызыл-ординской областной газеты, стать его замом.

Именно в то время Толя прилетал по делам в Павлодар, где я всё ещё тянул корреспондентскую лямку. Нашему редактору Толя тогда дал понять, что он напрасно держит в чёрном теле «такого кадра». Нелегко в Кызыл-Орде жилось и самому Толе, ведь он работал в русскоязычной газете, а область была процентов на восемьдесят пять – девяносто казахскоязычной. Но Толя не жаловался и не торопил события: наверное, верил в то, что это не последний пункт приписки его жизненного корабля. Так вскоре и произошло...

Несколько лет спустя мы случайно встретились в коридорах ЦК Компартии Казахстана. Я проходил собеседование на должность редактора «Звезды Прииртышья», а Толя – к тому времени заместитель заведующего отделом Кызыл-Ординского обкома партии – оформлял документы для поступления в аспирантуру Академии общественных наук при ЦК КПСС. Я чувствовал себя в «цековских» кабинетах не слишком уютно, временами робел, а Толя был тут вполне своим и даже рекомендовал, где мог, меня. Единственную выпавшую в тот раз на нашу долю ночь мы провели дома у нашего же «казгушника», с которым когда-то я тоже правда недолго, жил в одной комнате, – Толи Устиненко. (К слову, за пять лет на всю Кызыл-Ординскую область дали одно место в Академию, и казахи отдали это право ему, что ещё отнюдь не гарантировало поступления. До этого были строжайшая медицинская комиссия (чуть ли не как у космонавтов!) плюс экзамены – отсеялась добрая половина претендентов. А Толя был по праву горд, что прошёл, получив четыре оценки «отлично».)

Казалось, моего друга с его трудолюбием, упорством, образованностью, умением делать дело ждёт блестящее будущее. Ведь АОН, как её тогда именовали, была не обычным учебным заведением – в ней готовили кадры высшего партийного звена. И диплом выпускника Академии общественных наук при ЦК КПСС становился своего рода пропуском на руководящие партийные должности. Помимо прочего, слушатели АОН защищали кандидатские диссертации – по истории, филологии, социологии. Толина была посвящена особенностям работы печатной прессы в условиях национальной республики. И я был на её защите (именно в это время нас, редакторов областных газет СССР, собрали на очередные курсы, раз в несколько лет проводимые в той же АОН по решению ЦК КПСС). Держался Толя молодцом, защитился, не получив ни одного чёрного шара.

Мне до сих пор помнится вечеринка, устроенная им по случаю успешной защиты в «аоновской» общаге, где и я жил. Кстати сказать, водку для неё пришлось везти аж из Кызыл-Орды – Толиной жене Наде, на самолёте, ящик или два. Такие были времена.

По действовавшим в ту пору правилам он должен был вернуться за новым назначением в Кызыл-Ординский обком партии, который направлял его на учёбу. Но Толю уже заприметили москвичи и предложили работу в Зеленограде – редактором городской партийной газеты. Зеленоград был закрытым микрорайоном Москвы, центром оборонной промышленности. Его создавали великие умы, патриоты, державники, технические гении, единомышленники. Толя бы и там не затерялся, но уже шла вразнос наша большая страна, а Зеленоград – это, по Толиному определению, «логово демократии», трясло как на вулкане. И Толе пришлось там пережить немало не просто тяжёлых, но и трагических событий...

Мы с ним после московской встречи не виделись 12 лет. Встретились счастливо-случайно на международном Евразийском медиафоруме в Алматы весной 2003 года. Весь вечер проговорили в ресторанчике, что за форелевым хозяйством ущелья Ботан. Толя с нескрываемым наслаждением пил... верблюжье молоко (шубат), а я – казахстанский коньяк. Вспоминали о прошлом и пережитом...

На мой вопрос, что осталось самым страшным от московских дней пресловутого ГКЧП, он ответил не задумываясь: «Картина, как женщины – секретари горкома партии – тайно лезли через забор (ещё вчера Московской партшколы), чтобы забрать свои вещи! Поскольку главный вход уже заблокировала “демократическая общественность”. Это был верх крушения старых устоев и торжества новой власти...»

Я согласился – эту картину трудно себе представить! Сегодня ты секретарь горкома – ВСЁ в этом мире. Завтра – НИЧТО в мире другом...

Когда в Москве и Подмоскowie были, по сути, разгромлены партийные комитеты, включая и Зеленоградский горком, Толя остался без работы. «Кто застал то время – тот знает жизнь, – рассказывал мне Толя. – Люди были озлоблены и откровенно остервенелы. Пустые полки в магазинах, пустые холодильники в квартирах. Обида, боль, отчаяние – кто из нас не познал их в те “приснопамятные” дни!»

Когда остановилось издание газеты, он стал преподавать в Российском государственном социальном институте на Лосиноостровке. «На работу утром еду, – рассказывал, – у станций метро лежат очоленевшие бомжи и мёртвые “братки” после ночных разборок. Кто газеткой прикрыт, а кто и нет. Ведущие инженеры наших оборонных заводов торгуют на базаре... бельём! Все наши денежные запасы «на чёрный день», хранившиеся на сберкнижке, инфляция мгновенно превратила в ничто. Доцент московского института, я не мог свести концы с концами. В холодильнике – одни жареные бобы. Дети и сейчас вспоминают те времена, правда, уже без обиды. В довершение ко всему – Верховный Совет России расстреляли из танков. Мою Надю от всех переживаний парализовало (половина лица мёртвая и сейчас)».

Толя пошёл к друзьям и соратникам. Бывшие секретари горкома тоже устраивали свою новую жизнь. Один был уже владельцем полудюжины киосков. Другой открыл колбасный магазин. Толя рассказал им о своих бедах в надежде, что найдёт сочувствие и участие, что ему предложат хоть какую-то подработку в их фирмах. Но уже дохнул ветерок «другого мира», и каждый был сам за себя...

И тогда Егоров – патриот из патриотов, каких днём с огнём не сыщешь, – сказал себе: «Пошли вы на...!» – и следующим утром поехал в греческое посольство.

Откровенно и честно Толя рассказывал, каким непростым было вживание в новый мир. Но лично он – в отличие от большинства переселенцев – начал свою новую жизнь с того, что пошёл в государственную школу изучать, по его словам, «великий язык великого народа», в котором пять букв «и» и четырнадцать форм спряжения глаголов в действительном и страдательном залогах...

Начинал жизнь в Греции, работая в туристической компании и рекламной фирме. В Афинах подтвердил диплом государственного университета. Восемь лет ушло на то, чтобы получить греческий докторский диплом историка. Полгода учился на специальных курсах, чтобы обрести европейский компьютерный сертификат. Работал в государственных структурах, в последнее время – переводчиком в греческом «акимате». Выучил детей: дочь окончила институт компьютерных коммуникаций и управления, сын – греческую «Гнесинку» в Афинах.

У Егоровых, как Толя выражается, своя «избушка на берегу Эгейского моря». Избушка, прямо скажем, неплохая, двухэтажная...

Русский человек, по его словам, может приспособиться к любому миру (от Канады до Австралии!). Но, как убеждает его личный опыт, «жизнь человека в другой земле – это вопрос не столько материальный, сколько духовный. В православной Греции – при всех её сегодняшних экономических проблемах – его семье духовно тепло». Вот его ответ.

В последние годы мы переписываемся с Толей по электронной почте. Иногда, к сожалению, редко, созваниваемся. Предпоследняя новость – он провёл в рамках Евросоюза международный экологический семинар в Болгарии, был даже составителем программы и модератором. Пять дней вёл семинар на греческом языке. Позвонил по возвращении: «Стипендиат, думали ли мы с тобой в нашей студенческой общаге, что будем говорить когда-нибудь по-гречески, как по-русски! Воистину, жизнь прожить – не поле перейти!»

Недавно он позвонил мне уже с Алтая, куда прилетел по приглашению. Прочитал там полдюжины лекций по истории Древней Греции в местном государственном

университете. Выступил на международной научно-творческой конференции «Алтай в цивилизационном пространстве Евразии». Сдал в издательство книгу воспоминаний – она должна вскоре выйти.

Чем занят сейчас? Готовит к изданию греческо-русский и русско-греческий «Словарь сравнительной и прикладной фразеологии», собранный им за 18 лет жизни в Элладе. «Такого словаря, – говорит, – нет нигде в мире. Пена “чистогана” уйдёт: завтра это нужно будет и Греции, и России».

Какое-то время назад я уговорил Толю написать «Письма из Греции», напирая на то, что казахстанским читателям, среди которых есть и греки, они должны быть интересны. Недолго посомневавшись, Толя с энтузиазмом взялся за них... Его «Письма» были опубликованы в республиканском журнале «Нива», после чего на Толю обратила внимание редакция «Казахстанской правды», предложив стать её автором в Греции. Так журналистская судьба вернула его на круги своя – в газету, где он когда-то работал. И теперь Толя – один из самых продуктивных авторов «Казправды» – её «золотое перо», только за последний год он опубликовал в ней и журнале «Байтерек» три с лишним десятка материалов. Он также пишет статьи на исторические темы в греческие и российские издания. А недавно он ошеломил меня возникшим у него «философским желанием приступить к изучению... иврита – языка великого народа...».

А ещё он написал совершенно замечательный цикл новелл – о дальневосточном и алма-атинском детстве, о студенческой юности и взрослении, о других мгновениях жизни – веселых и грустных, счастливых и трагических. Мне так хочется, чтобы эта его книга увидела свет. Потому что она ещё и о том великом мужестве и достоинстве, с которыми жил и продолжает жить мой друг...

ВАСЬКА

Мы были с Васькой представителями разных сословий: он – сын декана и известного в столице врача, кандидатов наук... Я – простолюдин из дальней-дальней глубинки... Не могу теперь даже припомнить, как и почему мы сошлись. Может, потому ещё, что он был «школьник» (то есть поступил на журфак сразу после школы), а я – «стажник», успевший поработать два года в районной газете. А «школьники» относились к нам, особенно на первых курсах, с некоторым пиететом... Как бы там ни было, мы четверо – Пашка, Васька, Толик и я – сблизились уже на первом курсе.

Учился Васька легко, но без особого усердия. Происхождением своим никогда не кичился, тем более что, как я уже упоминал, отца его с поста декана освободили, когда мы ещё учились в первом семестре. Внешним видом Васька напоминал подчас беспризорника, поведением – этакое разбитного, всегда уверенного в себе человека. Мы, кто был постарше, подшучивали над некоторой его самоуверенностью.

Заспорили однажды: какой урожай пшеницы можно получить в условиях Казахстана. Цифры назывались самые разные. Я сказал, что у нас в области никогда не получали (притом не вкруговую, а только на лучших участках) больше 30-35 центнеров с гектара, в среднем же по области рекордом считается и ныне не превзойденный урожай целинного 1958 года – примерно четырнадцать с половиной центнеров с гектара.

– Так у вас же богара, – изрёк Васька, демонстрируя свои глубокие познания в сельском хозяйстве. И поскольку Васька не совсем правильно выговаривал «р», это слово прозвучало как «багага».

С тех пор острослов, донской казак Лёха Закутаев, завидев Ваську, бросался к нему с возгласом:

– Багага!

Впрочем, история эта быстро забылась. Васька был незлопамятен, открыт для общения, сам мог подначить и завести любого, что не раз демонстрировал на мне и на Толе. Они с Пашкой разыгрывали одно время роли фрондёров, высмеивающих советскую идеологию. Иронизировали над её героями – Павлом Корчагиным, Зоей Космодемьянской, кем-то ещё... Мы же с Толиком были патриоты и с пеной у рта доказывали им, насколько они не правы, что только их раззадоривало (понимаю теперь: они только и ждали, когда мы начнём заводитьсь, чтобы поиздеваться над нами). При всем при том эти идеологические разногласия нисколько не мешали нам дружить.

А фрондёрство и молодецкая придурь довели Пашку с Васькой до отчисления из университета, когда они после обмывки стипендии на втором курсе взялись переставлять телефонную будку в центре Алма-Аты. Им могли и срок припаять, но благодаря связям отцов дело замаяли и отправили друзей на перевоспитание – строить университетский городок, будущий КазГУград. Там они хорошо себя показали и были восстановлены. Только Пашка потерял один год, а Васька несколько месяцев спустя восстановился и продолжил учёбу вместе с нами. Правда, с тех пор их отношения дали трещину и близкими уже никогда не были.

Может быть, самой большой Васькиной страстью были горы. Окрестности Алма-Аты он знал, как родной Геологстрой (окраинный район города), где родился и вырос. Водил нас на Большое Алма-Атинское озеро, и мне с той поры не забыть это чудо из чудес – огромную зеленоватую чашу в обрамлении гор, наполненную чистойшей ледяной водой. Это озеро и теперь стоит у меня перед глазами.

Васька доверял нам самые укромные и дорогие сердцу уголки своих гор, включая святая святых – скромную хижину в заповедных местах, построенную когда-то его родителями. Однажды глубокой осенью, когда в Алма-Ате уже отплодоносили яблоневые сады, мы втроём – Васька, Толик и я – набрали столько отборного апорта, что не смогли всё унести, оставив часть собранного в хижине. А то, что взяли, бережно уложили в короба, сооружённые из подручного материала Толиком, и несли их на спинах. Я потом одарил посылками с этим апортом не только родню, но и любимых своих учителей. Никогда я с тех пор не рвал таких немислимо красивых и вкусных яблок – размером иногда с небольшую дыню.

На пятом курсе у этой самой хижины мы узким кругом будем праздновать нашу с Ольгой свадьбу... Свадебный стол стоял в яблоневом саду. Для нас с Ольгой прикатали валун, накрыли его старым ватным цветастым одеялом. Все остальные немногочисленные гости ели и пили стоя.

Была весна... В саду запоздало и отчаянно цвели яблони. И при лёгком дуновении ветра их лепестки опадали на наши головы и плечи, на праздничный стол с немудрёными студенческими закусками. Когда лепестки попадали в разнокалиберные «кубки» с портвейном, гости кричали «Горько!»... Весенний день был хорош и светел, все были беспечны и веселы, и казалось, что так теперь будет всегда...

Я бывал у Васьки дома, где мы с ним тайно угощались молодым виноградным вином из их садового винограда. А Васька захаживал к нам в общагу. Иногда эти визиты превращались в маленькие спектакли. Как-то, по-быстрому обставив меня в шахматы и громко заметив, что играть ему со мной неинтересно, Васька принялся читать принесённого с собой «Клима Самгина» (мы как раз проходили Горького). Время было позднее, и мы с Толиком (был кто-то ещё) стали намекать ему, что пора уже и честь знать...

– Да подождите! – отмахивался от нас Васька, казалось, всецело поглощенный чтением. – Должен же я узнать!

– Что узнать?

– Как что: «трахнет» в конце концов Клим эту свою Варавку или нет?

Вот что больше всего интересовало будущего журналиста ведущих казахстанских газет, лауреата премии Союза журналистов СССР, а не какие-то там философско-мировоззренческие концепции горьковского романа-эпопеи.

Благодаря связям отца Васька получил блестящее распределение, о каком никто из нас и помыслить не мог, – сразу в главную республиканскую газету. Как-то он заглянул и ко мне в Павлодар – в качестве спецкора этой газеты, и мы так славно провели два дня вместе, добравшись даже до моего родного «Михайловского» и немного при этом покуролесив...

Из партийной газеты Васька вскоре ушёл. И не потому что «не потянул» – опубликовал несколько хороших проблемно-аналитических материалов, вполне мог по-настоящему в ней закрепиться, сделать карьеру. Ему было скучно, неинтересно, не по душе была чопорная атмосфера редакции.

Ушёл Васька в лесники, на дальний кордон в нескольких десятках километров от Алма-Аты. Жизнь он там вёл полупервобытную, о чём мне рассказывал как-то навесивший его Толик. И хотя Толик к тому времени уже успел немало повидать в жизни, образ Васькиной жизни на кордоне его во многом ошарашил. Ваське же всё было нипочём.

Его новая карьера закончилась почти так же стремительно, как и началась. По заявке какой-то, кажется телевизионной, конторы он срубил для её сотрудников несколько десятков сосенок. На него кто-то настучал, а обещанного официального письма-заявки от конторы так и не появилось. И Ваське припаяли срок – что-то около трёх лет.

Из тюрьмы его всё-таки вызволили. Но два времени года, по его собственному определению (то есть шесть месяцев), Васька отсидел...

Работать он устроился в журнал для слепых, выходивший в двух видах – обычном и толстенном, где использовался шрифт Брайля, который незрячие люди читают подушечками пальцев.

Наезжая не раз в ту пору и ко мне, Васька по этому поводу иронизировал:

– Старик, у тебя даже в самом лучшем случае только каждую строчку читают, а у меня всегда каждую букву ощупывают.

В командировках Васька не перерабатывал. Заводил скоротечные, необременительные романы, подробности которых в картинках живописал и мне. Причём без всякой пошлости – «как художник художнику», говаривал он.

Со временем из журнала для слепых Васька перешёл в республиканскую молодёжную газету – в ту пору по-настоящему популярную: тираж её зашкаливал за триста тысяч экземпляров. Здесь он быстро стал не просто своим, но одним из лучших перьев. Мог продвинуться по служебной лестнице, но карьера его не интересовала. В нём по-прежнему бунтовала, требуя выхода, неукротимая натура несостоявшегося бизнесмена. Но «делать бизнес», каждый день просиживая «от сих до сих» на работе, затруднительно, поэтому вошедший в авторитет Васька выхлопотал себе должность собственного корреспондента газеты по одной из северных областей. Жить же оставался в столице, черпая факты для нужных публикаций по телефону.

Статус «свободного художника», каковым по сути и был теперь Васька, представлял куда большие возможностей для бизнеса. И Васька развернулся во всю ширь: разводил пчёл, взял в аренду несколько гектаров яблоневого сада, стал

приторговывать яблоками. Всерьёз подумывал об искусственном выращивании шампиньонов на продажу, обещал и меня взять в компаньоны.

И в личной жизни у Васьки произошли кардинальные перемены. Он второй раз женился – на юной красавице Инкаре, в жилах которой текла кровь славян и кипчаков, а корни восходили к одному из самых влиятельных казахских ханов. Вполне разделявшая Васькины предпринимательские амбиции, супруга стала и его ближайшей соратницей по бизнесу. Как-то они вместе, изучая конъюнктуру рынка, приехали в Павлодар и, распродав небольшую партию яблок, поняли, что региональная ниша в этой части никем пока не занята.

Я угощал их дома пельменями и водкой.

– Старик, ты знаешь, как мы теперь развернёмся, – говорил Васька, – мы наладим хранение и поставки. Это же настоящая золотая жила!

И слова у него не расходились с делом. Получив в пригороде Алма-Аты по наследству половину старого дома, Васька выкупил вторую и стал готовить базу для дальнейшего развития яблочного бизнеса. Приглашал меня в гости, уверяя, что найти его новую усадьбу будет просто: в центре её вырыт большой котлован для будущего фруктохранилища.

А что же работа? И тут всё обстояло, можно сказать, блестяще. Время от времени Васька выдавал «гвозди», которых набралось достаточно для представления на высшую журналистскую премию – Союза журналистов СССР. И он её получил, доказав, что бизнес творчеству не помеха. Помимо прочего, теперь уже никто в редакции не мог упрекнуть его в том, что в своих яблоневых садах он проводит времени куда больше, чем в редакции, где Васька появлялся всё реже.

Оказавшись как-то по делам в столице, я не без труда отыскал вечером его усадьбу, проболтавшись минут сорок по абсолютно тёмной – хоть глаз выколи – деревенской улице, зажатой многоэтажками и автострадой.

Васька тут же взялся показывать своё хозяйство: тот самый котлован, который должен превратиться в овощехранилище, огород с устроенными на нём террасками для овощей, «запорожец»-вездеход с прохуdivшимся брезентовым верхом, на котором он возит яблоки и заодно охотится на разного рода живность в окрестностях арендованного им сада.

– Мясо всегда своё, – уточнял Васька, – опять же – дичь, а не то, что едите вы...

Пошли в дом, где Ваське сунулся в колени светловолосый пацан лет трёх. Второй, грудной, пускал пузыри, лежа в кровати. Свежестью и красотой молодой счастливой матери блистала Инкара. Я видел перед собой людей, вполне довольных жизнью...

Тем большей неожиданностью для меня стал Васькин звонок с известием о том, что он уезжает в Россию. Что могло произойти, ведь в Алма-Ате он всегда чувствовал себя как рыба в воде, и в журналистике был не последним человеком, а в бизнесе (хотя я всегда относился к его предпринимательским затеям скорее скептически, считая их авантюрными) он тоже продвинулся? Много лет спустя Васька скажет, что к этому шагу его подтолкнули первые проявления бытового национализма – не захотели взять в детский сад первого сына, отказали в яслях другому, дав понять, что «некоренным» в них места нет... Васька же, рождённый в Алма-Ате и хорошо знавший, сколько сделали для республики его родители, смириться с подобным не мог и решил уехать не только сам, но и увезти далеко не молодых отца и мать. Снялась с насиженного места и семья брата-геолога...

По пути он собирался заехать ко мне, но не случилось. Всё своё имущество, главным богатством которого была пасаека, вёз на собственном «КамАЗе», а семейство – на купленной по случаю «Ниве». Были у него уже и какие-то другие машины.

В следующий раз он позвонил мне из Москвы. Сказал, что обосновался на родине предков, в Орловской области, где получил землю и собирался строить большой дом.

А увиделись мы снова лишь десять лет спустя. Я был в Москве, позвонил ему на сотовый телефон, он пообещал меня встретить в Орле. И мы с моим старшим сыном Данилом, к тому времени осевшим в Москве, поехали. Это была одна из самых удивительных поездок в моей жизни. Впервые проезжал Тульскую область – родину моей бабушки Марии Петровны, чья семья в годы Столыпинской реформы переселилась в Сибирь, где я и родился... Подумал тогда: как глупо, что ни разу не приехал в эти края, не отыскал ту самую деревню Новую Красивую (так её называла бабушка) Ефремовского уезда на речке Красивая Меча... Но это, впрочем, особая тема.

В Орле нас никто не встретил, и я стал названивать Ваське:

– Ну и где ты, Раздолбай Иванович?

– Да здесь я, здесь, старый, – вот-вот буду...

Не прошло и получаса, как меня облапил бородатый рукастый мужик, в котором Ваську я не сразу признал – уж очень он походил на пахаря, едва оторвавшегося от сохи. Оказалось – подвёл старенький Васькин «москвич», и он попросил съездить за нами знакомого, как вскоре выяснилось – не только тоже переселенца, но и земляка – бывшего павлодарца.

В гостях у Васьки мы пробыли меньше суток. Оказалось, я первый из казахстанцев, кто заглянул к нему за минувшее десятилетие. Инкара (а она по-прежнему была свежа, смугла, с румянцем на щеках) однажды ездила в Алма-Ату, а Васька если и отлучался, то лишь в райцентр, Орёл или в Москву.

Места, в которых они обосновались, сказочно красивы: леса, холмы и перелески, речка и простор – необыкновенный... И – никого рядом, только дом брата чуть поодаль. Пока ехали, я с изумлением открывал для себя, что природа этих мест удивительно напоминает ту, в которой родился и вырос я, разве что здесь, на Орловщине, она не так скромна – более сочная, живописная, потому что здесь и лесу, и лугам, конечно, комфортнее, чем в нашем суровом, засушливом, морозном и не столь плодородном краю. И мне стало понятно, почему мои тульские предки именно кулундинскую лесостепь выбрали для обитания – она чем-то напоминала им родину...

Но я, впрочем, опять отвлёкся. Жизнь на Орловщине оказалась для Дмитровских не такой уж благостной. Дом, купленный в деревне Глинки, оказался столь ветхим, что сыпался на глазах. Односельчане встретили пришлых настороженно, не считали большим грехом утащить с их подворья понравившуюся вещь. Настоящим ударом для семейства стал массовый мор пчёл: от привезенных ста семей осталось всего несколько. Худо-бедно перезимовали и решили строиться, но не в Глинках, а на хуторе, там, где когда-то была деревня Дюкарево, от которой ничего не осталось. Размахнулись на три этажа, но осилили, пока ещё деньги кое-какие оставались, только цокольный, сложили в нём печку, перекрыли... В нём и зимовали девять лет, пока мало-помалу поднимали дом, ведь денег на строительство не хватало катастрофически, даже тогда, когда продали всё, что имело хоть какую-то ценность: и «КамАЗ», и другую технику...

Я спускался в этот самый цокольный этаж, а по сути подвал – мрачное подземелье, где и были устроены лежанки для семейства Дмитровских – Васьки с Инкарой и троих сыновей: старшего Михаила, среднего Ивана и младшего Димки, родившегося уже здесь.

Каково им все эти годы жилось? По-разному, конечно... Васька упирал на то, какая здесь природа, сколько всякой живности... Какая охота... Лоси, дикие козы

и кабаны, зайцев – видимо-невидимо, диких уток... Какая плодородная земля, которая родит всё: от картошки и овощей до любимых его сердцу яблок. Показывал мне растущую у дома яблоню, на которой привито 17 разных сортов яблок – и все плодоносят. Говорил, сколько в окрестных лесах грибов и ягод, хвалился, что в один год только на продаже груздей выручил «штуку» долларов...

Инкара больше молчала, а потом вспомнила, как бьющийся на строительстве дома по большей части в одиночку Васька «сорвал» спину и уже не мог не только работать в полную силу, но и толком передвигаться. Как в семью, никогда не знавшую нужды, пришла бедность. Как она плакала, тайком, чтобы не видел никто...

Именно здесь они стали истинно верующими людьми. Что также помогало преодолевать многочисленные невзгоды. Затянувшееся строительство дома было далеко не единственной проблемой. Подрастали дети, и отдавать старших в интернат за пятнадцать километров родители не хотели. Инкара, закончившая, кстати, журфак с отличием, решила их учить сама, дома, но для этого надо было пробить такую стену непонимания! Дошла до Москвы, добилась – с ней заключили договор на индивидуальное обучение собственных детей, а мальчишки в конце каждой четверти и по итогам года сдавали в школе экзамены по всем предметам экстерном. Причём, как правило, на отлично.

В ту пору, о которой я пишу, старший, Михаил, учился в 9-м классе. Мне казалось, он слегка стесняется наших с Васькой бурных воспоминаний... Средний, Иван, был спокоен и сосредоточен, демонстрируя хозяйскую выучку и готовность выполнить любое отцовское поручение. Младший, Димка, с которым мы как-то очень быстро сошлись, больше жался к матери. Это были абсолютно нормальные деревенские мальчишки, среди таких и я в своё время рос... Говорю последнее лишь для того, чтобы подчеркнуть – никакие они были не «тарзанята»... Михаил, кстати, позднее закончит сельскохозяйственную академию, поучится за границей и станет преподавать в той самой академии. Нормально всё сложится и у Ивана, командующего большим Васькиным хозяйством наравне с отцом, ну а Димка – ещё школьник.

Словом, уже к моему приезду всё у Дмитровских складывалось более-менее нормально: стоял на пригорке – как будто парил – дом в два этажа с намечавшимся третьим, куда вела длинная-длинная грубая берёзовая лестница. К зиме собирались стеклить окна. И жили уже со светом – протянули недостающую электролинию. На следующий после нашего приезда день Васька покажет мне – что будет где: их с Инкарой спальня, комнаты детей, оранжерея... Где будет гостевая, куда посылать в следующий приезд меня.

А пока мы сидим на первом этаже за грубо сколоченным столом у мерно гудящей, стреляющей искрами печки – её Васька саморучно сварил из камазовских металлических ободов, на которые надевается резина. На столе – всё своё: тугой холодец из говяжьих ног, нарезанный крупными ломтями; мясистые помидоры и лук с собственного огорода; домашняя сметана, в которой ложку не повернуть; тушёная гусятина крупными кусками и только что сваренная рассыпчатая картошка... В просторных окнах, прикрытых пока только полиэтиленовой плёнкой, гуляет ветер, где-то очень высоко над нами потолок, отчего возникает ощущение, будто мы сидим в небольшом храме.

Само собой, немало было выпито и о многом говорено в ту ночь. Я всё допытывался: не жалеет ли Васька о том, что сменял журналистику, где его ожидало большое будущее, на эту, полную лишений и непредсказуемости, хуторскую жизнь? И он отвечал – как о давно и хорошо решённом:

– Да о чём тут говорить, старый: чтобы я сменял эту красоту и свободу, а я ведь тебе ещё ничего показать не успел, на какое-то мельтешение! Здесь я – хозяин, а там... Разве это можно сравнивать?

Гудела печь, ставшая малиновой... Таяла горка берёзовых поленьев рядом с ней... И так не хотелось расходиться...

Утро пришло уже по-настоящему осеннее – с росой и прохладой, лёгким туманом, скрывающим округу... Попили чаю, и Васька повёл показывать хозяйство: усадьбу, огороженную по периметру легкой изгородью из жердей («Лезут все кому не лень – охотники, грибники, прочие отдыхающие – как к себе домой, – пояснил он, – вот пришлось огородиться...»). Тут же паслись две лошади – одна ездовая, на которой Васька объезжает угодья, а вторая, как он выразился, про запас. Были ещё коровы – три или четыре – с приплодом, птица и две собаки – одна на цепи («Больше для виду, толку из неё никакого», – сказал Васька) и здоровенный кавказский овчар, с виду добродушный.

– А вот это – Абдулла, зверь, – представил его Васька и любовно потрепал сторожа по кудлатой голове, – этот никого не пустит не то что в дом – в ограду. А в лесу и волку спуску не даст, и кабана возьмет, и барсука, а про зайцев и говорить нечего... На охоте с ним – милое дело...

...Пошли в угодья, где Васька показал пару стожков сена, которые он сам сметал на зиму. А потом – «плантации», где он выращивает капусту, картошку, морковку, свёклу – на прокорм семейству и домашней живности, а также на продажу. Часть картошки была ещё не убрана, тут же стояла лопата... Я, выросший на картошке, копнул несколько высохших кустов, вывернув ровные, крупные розоватые клубни...

– Видишь: шесть-семь кустов – и ведро есть, – подытожил Васька, – да тут всё хорошо родит, любой овощ... И садить я могу вдвое-втрое больше, полив – не проблема, но с прополкой и уборкой самим, конечно, не управиться. Нанимал на лето и осень местных, зарплату платил день в день, но работники – никудышные, ещё и приворовывают... Мы капусту убирали, и я сказал, что, кроме зарплаты, каждый может после работы брать кочанов с собой – кто сколько унесёт. Я это специально сделал, чтобы не крали. Брали все – кто в сумки, кто в мешок, я не ограничивал. А потом нашёл в леске, что на краю поля, припрятанную горку кочанов – ночью, наверное, увезти хотели. Говорю утром: что же вы за люди такие? Молчат, опускают головы. И от работы настоящей отвыкли, разучились, что ли, и живут, ни о чём не задумываясь, лишь бы день прошёл...

Рассказал Васька и о том, как сильно прогорел на капусте несколько лет назад. Заключил договор с крупнейшей в Орле сельскохозяйственной фирмой, торгующей овощами, на поставку крупной партии капусты. Капусту вырастил, нанял людей, чтобы помогли убрать. А фирма взять её отказалась. И девать десятки тонн отменной продукции оказалось некуда: часть пришлось скормить скоту, а часть сгнила...

Словом, что и говорить: не так уж сладка жизнь у Васькиного семейства, трудиться которому приходится от зари до зари, особенно с ранней весны до поздней осени. Хотя и зимой, когда округу снегом засыпает так, что можно лишь на «Кировце» пробиться, тоже не сахар. Мне даже трудно себе представить, как они много лет зимовали в своём цокольном этаже, то есть в подвале...

...Поднялось солнце, и стали отчётливо видны окрестные леса и перелески, холмы и лога, поросшие густыми высокими травами. За такую красоту и вправду можно многое отдать.

Мы сходили ещё на небольшой холм, где похоронен наш бывший декан и Васькин отец Михаил Иванович Дмитриевский. Помянули его по русскому обычаю. А

оттуда спустились к небольшой речушке, петляющей вдоль топких берегов, заросших тальником, осиной и молодым тополем...

Васька уверял, что на этой речке, буквально в нескольких сотнях метров от его дома, живут бобры. Я, зная некоторую его слабость к преувеличениям, не верил... И тут же был посрамлён: увидел и сработанную бобрами запруду, и срезанные их зубами деревца, и те, что они только наместили...

И, наверное, чтобы окончательно сломать мое неверие, Васька всучил мне на прощание две необработанные, ещё сырые бобровые шкурки – на будущую шапку.

...Уезжали мы ближе к полудню. Уже входил в силу погожий осенний день, и с пригорка, на который выехала машина, хорошо был виден на холме белый дом, который, казалось, не стоял на земле, а парил над ней...

Мне посчастливилось побывать в разных странах, увидеть разные, очень красивые места. Но та поездка к Ваське на Орловщину – одно из самых ярких и памятных впечатлений в моей жизни. Может, ещё отчасти потому, что это ведь и моя историческая родина (или, вернее, моих предков), и это во мне гены заговорили? Как бы там ни было, той поездки и той встречи с Васькой и его семейством мне никогда не забыть... Мне напоминает о ней и роскошная бобровая шапка, сшитая из тех самых подаренных Васькой шкурок, которые, правда, пришлось сперва отдать для выделки скорняку, потом ещё добавить ондатры... И хоть ношу я её редко, Ваську вспоминаю всякий раз, когда она попадает мне на глаза...

А недавно Васька опять напомнил о себе:

– Старый, ты знаешь, откуда я звоню?

– Наверное, опять с дерева... – отшутился я: когда-то Васька говорил, что для звонка мне со своего сотового телефона он должен влезть на дерево – иначе не дозвониться.

– Вспомнил тоже... Я теперь с третьего этажа своего дома куда хочешь дозваниваюсь...

– А где ты теперь?

– На Рублёвке, – донеслось из трубки.

– Неужели настолько разбогател?

– Да нет – я тут яблоками торгую, отборная антоновка уходит влёт.

Васька хотел сказать ещё что-то, но связь прервалась – видно, кончились деньги на его сотовом.

Словом, друг мой Васька оставался, как иногда говорит моя мать, в одной поре. Значит, и дела его были в относительном порядке...

* * *

...Работаю в «Звезде Прииртышья». За моей спиной, повыше головы, лозунг: «Душой и телом – с сельхозотделом!» На противоположной стене живописная картина: корова, кокетливо держащая фуражку на рогах; поясняющая надпись снизу – «Корова фуражная» и другой броский лозунг: «Удвой удой, утрой удой, а то пойдёшь ты на убой!» Мы в ту пору изо дня в день боролись вместе с животноводами за повышение и надоев, и привесов, и приплода всех видов скота...

...Принесли из отдела писем почту. А мне ещё и личное письмо – от Тани Назловой, в котором, помимо прочего, горестные строки о том, что погиб наш однокурсник Вовка Л.

То были не лучшие времена и у меня самого: отработав в «Звезде» почти полгода, я, уже отец семейства (жена, ребёнок), не имел ни квартиры, ни даже общежития и очень из-за этого переживал. И вот такая весть... Подумал сразу о том, что

мои нынешние проблемы – сущие пустяки по сравнению с Людкиными, которая осталась без мужа, а их дочь – без отца. Людка с Вовкой поженились на четвёртом курсе. А летом родилась их дочь.

Заказал телефонный разговор с Балхашом, где Людка работала в городской газете, и стал думать – как буду говорить с ней? Как спрошу у неё про Вовку? Или, может, сама скажет? Услышал в трубке её бодрый голос и сразу засомневался – что-то не очень она похожа на убитую горем вдову. Всё хочу заговорить о главном но не получается, потому что она сама засыпает меня вопросами. Отвечаю, что у меня всё нормально, и, наконец, решаюсь спросить:

– Ты-то сама теперь как? Как это случилось?

– Да всё хорошо, – отвечает. – А что у меня случилось?

– Так Вовка же... – говорю я и умолкаю.

– А что Вовка? – явно не понимает она. – Работает... Ну и куролесит, конечно.

Тебе ли не знать...

– Но что-то же с ним произошло? – продолжаю напирать я.

И Людка, наконец, тоже понимает, о чём речь, и рассказывает, что Вовка отчебучил в последний раз. Когда в Балхаш приехал в командировку один из наших однокурсников и они с Вовкой хорошо посидели, захотелось продолжить общение в расширенном составе. Пошли на почту и дали несколько телеграмм с известием о трагической кончине Вовки. Тут же начались звонки – на телевидение, где он работал, Людке... Кто-то уже ринулся в путь, кто-то успел выпить за помин Вовкиной души... Ну, а у меня отлегло от сердца.

Если бы надо было охарактеризовать Вовку одним-единственным словом, я бы сказал – гусар. На вступительных экзаменах он неизменно появлялся в дембельском наряде с погонами сержанта. И не потому, что только что отслужил или ему нечего было надеть. Расчёт был и на внешний эффект – уж очень браво он смотрелся в форме сержанта Советской Армии, – и на сочувствие экзаменаторов (а особенно экзаменаторш): парень с честью исполнил свой мужской долг, отслужил, ну, а если чего и не знает, то это простительно – в армии ему было не до учёбы.

Вовка не просто поступил – был назначен старостой. А если учесть, что он уже во время службы стал кандидатом в члены партии, его и вовсе ожидала самая блестящая карьера, какая только может светить студенту. И, само собой, хорошее распределение. Может, даже перспектива остаться в Алма-Ате.

И учился он легко, хотя и без малейшего усердия. Пользовался своим неотразимым обаянием, сдавая экзамены и зачёты молоденьким и стареющим преподавательницам: первым он просто нравился, а вторым, вероятно, навевал грёзы об утраченной молодости. Во всяком случае, я был свидетелем того, какой феерический бред нёс Вовка на экзамене по введению в литературоведение. Этот курс вела у нас вчерашняя аспирантка, которая чувствовала себя в высшей степени неуверенно, а на экзамене, казалось, сама готова была отдаться Вовке. Разумеется, он получил пятёрку.

Вовка вообще умел очень быстро выстраивать отношения с людьми. Даже со строгими офицерами на военной кафедре. Про женщин же – и говорить нечего. Возраст их при этом особого значения не имел. С одними он сходу налаживал романтические отношения, а с другими, как принято говорить, «решал вопросы».

На Людку Вовка «запал», едва увидев её... Упорно добивался, оставив на время все прочие увлечения. Получив стипендию на весь курс, однажды осыпал её с головы до ног червонцами. Я сам был тому свидетелем. Потом мы никак не могли найти один запропастившийся червонец...

То есть по всем приметам Вовку ждало блестящее будущее. Но по жизни его вели не упорство и труд, а сумасбродство и авантюризм. Жить правильно ему было скучно. И он постоянно расцветивал свою жизнь непредсказуемыми поступками – бесчисленными романами, загулами в самое неподходящее время и в самых неподходящих местах, другими выходками. И до поры до времени всё сходило ему с рук. Пока за пьянку в общаге, закончившуюся дебошем с вызовом милиции, Вовка не только лишился поста старосты группы, но и вождя партияного билета (как раз заканчивался его кандидатский стаж, и партбюро факультета решило, что он его не выдержал).

Потом много ещё чего было... Их с Людкой свадьба, рождение дочери, отнюдь не изменившее Вовкиной натуры и вечного стремления к свободе. Он по-прежнему был для всех своим, вхожим в любую компанию, заводил необременительные романы... И обижаться на него было как-то даже неудобно: ну что поделаешь – такой человек. Каково при этом было Людке – лишь сама она знает.

После университета они работали в Балхаше, откуда какое-то время спустя Вовка перебрался в Магадан (там работал другой наш однокурсник – Лёха З.). Людка ездила к нему туда, надеясь, что он, наконец, повзрослеет. Но там у него уже была другая женщина...

Потом они вместе оказались в Целинограде: она – в областной газете, а он – на телевидении, где у Вовки появился сперва один, а потом другой ребёнок на стороне (само собой – от разных женщин). С одной из них Вовка приезжал ко мне в Павлодар – юной красавицей, которая его боготворила. А приезжал он за советом: с кем ему остаться – с новой пассией, у которой ребёнка от него ещё не было, или с той, которая уже родила?

Потом Вовка жил, кажется, в Крыму, говорят, занимался сомнительной общественной деятельностью... Однажды позвонил Людке, сказал, что всегда любил только их с дочерью, и попросил... организовать справку с местного телевидения для оформления российской пенсии...

Размышляя теперь о его жизни, думаю, что, в сущности, он был не таким уж плохим человеком: незлобивым и незлопамятным, нежадным и по-своему добрым (кому только не помогал)... Весёлым был – любил пошутить сам и не обижался, когда шутили над ним... Где он сейчас, гусар Вовка? Цела ли его роскошная шевелюра, носит ли он свои усы, сводившие с ума университетских красавиц? Как ему живётся в нынешние времена? Жив ли он вообще?

...И как бы мне хотелось ещё хоть раз его увидеть!

* * *

Может быть, самой загадочной, непознанной фигурой нашего курса оказался Вовка Т. Он пришёл к нам в группу на втором или третьем курсе и как-то не прижился. Почему – не знаю. Он нас не сторонился, наоборот, пытался завести дружбу – то с одним, то с другим, но не слишком успешно. Почти никто не принимал его всерьёз, и за ним вскоре закрепилась репутация человека недалёкого, пустого, из которого вряд ли выйдет что-то путное. И даже то, что преддипломную практику наш однокурсник проходил в «Комсомольской правде», а в руководителях диплома у него оказался редактор главной республиканской партийной газеты (к нему в кабинет даже не все штатные сотрудники могли попасть с первого захода), нас ни в чём не убедило... В том числе и автографы лучших перьев «Комсомолки», которые Вовка демонстрировал нам вместо своих публикаций в ней.

Внешность Вовка имел экзотическую и запоминающуюся: густая чёрная стоячая шевелюра, раскосые хитроватые глаза; был он высок и смугл. Словом, выглядел

как и подобает алтайцу... Я тогда и не знал, что есть, оказывается, такой народ, живущий на Алтае и имеющий свою автономию.

Защитился Вовка на отлично, распределение получил в районную газету, откуда быстро сумел «открепиться», и снова возник в Алма-Ате. Вскоре он появился в Павлодаре и уверял всех, что по заданию «Правды» – готовить очерк о директоре совхоза. Это была газета номер один в СССР, само её название действовало на местное начальство магически, и Вовка несколько дней буквально третировал наше облсельхозуправление своими просьбами-поручениями. Очерк его, кстати, в «Правде» так и не появился.

Ещё какое-то время Вовка обретался в Алма-Ате, и сведения о нём приходили противоречивые: то он – в членах правления некоей республиканской ассоциации (уже шла вразнос горбачёвская перестройка), то вроде возглавил рекламную кооперативную газету... Иногда он позванивал и был неизменно сосредоточен и деловит, давая понять: мол, ещё чуть-чуть, вот-вот, и мы наконец узнаем, кого недооценивали все эти годы.

И ведь не так уж неправ был непознанный нами талант. Однажды мне, уже редактору, позвонили по межгороду, и приятный женский голос сообщил:

– Вас беспокоит Москва. С вами будет говорить президент международного фонда малых народностей и этнических меньшинств.

Я ещё ничего не успел сообразить, подумал только – ошиблись, наверное, как в трубке послышался другой, до боли знакомый голос:

– Привет, старина! Как поживаешь? Не забыл ещё обо мне?

– Привет, – неуверенно отвечал я, – ты что, правда в Москве? Что ты там делаешь?

– Да вот, избрали, – как всегда неопределённо и туманно отвечал Вовка, – уйма дел, всё надо раскручивать... На днях в Бразилию лечу...

Вовка дал мне номер своего московского телефона и сказал, что я могу всегда на него рассчитывать. Оказавшись через несколько месяцев в Москве, на курсах в Академии общественных наук при ЦК КПСС, я позвонил. Несколько дней никто не отвечал, и я уже подумал, что Вовкин фонд – очередной миф, но продолжал названивать. И однажды мне ответили. Не сам он, а какая-то его помощница. Расспросила, кто я такой, зачем мне понадобился президент «Интерэтноса» (так официально именовался фонд), и заключила:

– Ждите у телефона. Вам позвонят.

Вскоре позвонил сам Вовка, то бишь президент.

Когда мы встретились, он вкратце ввёл меня в курс своих дел: президентом избран на альтернативной основе, причём в главных соперниках у него был бывший посол СССР в США; называл другие громкие фамилии, с обладателями которых он теперь общается напрямую. Подарил мне изящную визитку, удостоверяющую его нынешние регалии. Спросил, нет ли у меня в родословной представителей национальных меньшинств? И, как будто сожалея, вздохнул:

– Думал, можно будет перетащить тебя в Москву по нашей линии... Я тут уже одним из наших «казгушников» занимаюсь, но с ним всё проще – он оказался мордва...

Ещё он предлагал отвезти меня на машине на аэровокзал (я улетал в тот день), порывался позвонить в совминовский гараж, вызвать машину. Я же решил, что на такси будет надёжнее, и он меня проводил, великодушно возместив мне половину из потраченного на проезд червонца.

Я и тогда не поверил в то, что Вовкин фонд может представлять собой нечто значительное, и, между прочим, напрасно: то было время, когда, казалось бы, из

ничего, на пустом месте вдруг возникали самые невероятные, фантастические проекты. И некоторые приносили их создателям неплохие дивиденды. Думаю, так было и с его «Интерэтнсом», рождённым в нужное время и в нужном месте. Можно сказать и так: Вовка наконец и вправду откопал тогда свою золотую жилу, взявшись защищать права малых народов и этнических меньшинств. Идея была столь благородна, что на неё нельзя было не откликнуться. И откликались – в самых разных формах, включая финансовые вливания, не только в разваливающемся СССР, но и за рубежом, куда Вовка тоже выезжал, добираясь до Западной Европы и за океан, в Северную и Южную Америки.

Потом его фонд, само собой, лопнул. Немалые деньги, которые удалось собрать, частично обесценились, а большей частью были Вовкиными сподвижниками разворованы. Но сколько-то этих денег он сумел вложить в самое выгодное дело – строительство жилья в Москве. И стал в итоге владельцем нескольких квартир в новом доме (а если верить одному из наиболее близких его приятелей – целого подъезда).

В пору финансового кризиса, охватившего суверенные республики разваливавшегося СССР, Вовка пытался продавать свою недвижимость. Приезжал и в Павлодар, давал объявление в нашей газете о продаже двух-трёхкомнатных квартир в Москве. Обещал и мне по тысяче долларов за каждую, если я ему найду покупателей.

– Да как же я потом докажу тебе, что это я их нашёл? – спрашивал я у него.

– А я тебе телефон дам – позвонишь и скажешь, что нашёл. Но деньги, сам понимаешь, только после продажи.

На заманчивое предложение, обнародованное в нашей газете, никто почему-то не клюнул, хотя объявленные им цены (правда, по нынешним временам) были просто смешными: 32 тысячи долларов за двухкомнатную и 45 тысяч – за трёхкомнатную квартиру. Так мне и не удалось заработать на этом Вовкином предприятии.

Ещё в свой тогдашний приезд Вовка жаловался мне на москвичей:

– Старик, с ними нельзя иметь дел – все и всегда тянут одеяло на себя. Могут запросто «кинуть»...

Потом мы ещё пару раз виделись в Москве и один раз в Павлодаре. Сюда Вовка завернул со своей исторической родины – Алтая, где у него были какие-то коммерческие интересы. Говорил, что выбил для республики крупный федеральный кредит (из бюджета), «а там его проакакали». В качестве отступного ему досталась какая-то недвижимость в Горно-Алтайске, где он намеревался провести междунациональный инвестиционный форум, на который и меня звал. Я сначала загорелся, а потом остыл, поэтому не знаю – состоялся ли тот форум.

Ещё Вовка рассказывал, что учит дочь в Англии – то ли в Оксфорде, то ли в Кембридже, на что потратил уже не одну сотню фунтов стерлингов. Что собирает все счета, подтверждающие эти траты, – так, на всякий случай, «чтобы предъявить в случае чего». Говорил, что хочет завести и сына и что «уже работает по этому вопросу».

Последний раз мы виделись несколько лет назад. Он позвонил ночью, с автовокзала. Приехал – весь в белом, как плантатор из Африки или из Южной Америки. За плечами у него был небольшой рюкзачок. Выпить отказался – пил чай и рассказывал о своём новом проекте создания межпарламентской ассамблеи представителей малых народов и этнических меньшинств. И хотя бывший «Интерэтнос» никак при этом не упоминался, я сразу понял, что речь идёт о своеобразном клоне, или, если можно так выразиться, младшей сестре бывшего фонда, которой суждено родиться (если суждено) в новых условиях и на новой основе. Я был поражён тем, насколько Вовка всё хорошо продумал и рассчитал: идеологическую, организационную, а

также инвестиционные составляющие проекта. И даже мне, большому скептику в подобных делах, сразу подумалось – идея просто обречена на успех.

Но прошло уже несколько лет, и пока что ничего не слышно о новом детище нашего Вовки, давно ставшего для многих Владимиром Павловичем. Впрочем, ещё не вечер. Ведь он уже не раз доказывал нам, в него не верящим и над ним всегда посмеивающимся, кто он на самом деле...

* * *

Старшим из нас, стажников, был Валентин Е. Но мы, 19-20-летние, звали его, 25-26-летнего, Валя. Валя уже успел жениться, завести ребёнка и развестись и одно время жил один в собственной «полторашке» – квартире, которая и по размеру, и по планировке представляла собой нечто среднее между одно- и двухкомнатной. Невысокий старый дом находился на улице Ауэзова, неподалёку от ВДНХ. Написал эту аббревиатуру и сразу вспомнил неизменную шутку, кажется, Любки Власовой, говорившей, что свидания парням лучше всего назначать на ВДНХ под буквой «Х». Хохма же в том, что этой аббревиатуры перед входом на Выставку достижений народного хозяйства, куда мы тоже заходили – попить пива, попросту не существовало...

В Валиной квартире многие из нас не раз ночевали. А я однажды стал свидетелем того, как Валя рубился в шахматы с двумя какими-то мужиками. Это был блиц, когда каждому отводится на партию не больше трёх-пяти минут. Играли на деньги, и Валя выиграл за вечер рублей десять...

Он был мастером спорта по шахматам. Играть ему с нами было неинтересно, разве что вслепую, сразу на нескольких досках. Но и в таком случае он не оставлял нам никаких шансов, даже самому продвинутому – Ваське Дмитровскому.

Позднее Валя ещё раз женился, у него появился второй ребёнок, и ему вовсе стало не до нас.

Большую часть жизни после университета Валя проработал в политотделах системы МВД, виделся с нами редко. Говорят, давно вышел в отставку, в чине полковника. Где он теперь, чем занимается – не знает из однокурсников никто...

* * *

По-разному сложились судьбы других наших парней. Лёха Закутаев после довольно долгой магаданской эпопеи (работал в областной газете, редактировал областную профсоюзную) вернулся к себе на Дон, редактировал «районку», живёт с женой в собственном доме... Давно пенсионер, но всё ещё в строю.

Юрка Павленко (которого мы звали хохлом, а он парировал: «Кому хохол, а кому Юрий Петрович!»), распределившийся во Фрунзе, уехал потом в Одессу, работал в многотиражке тамошнего морского пароходства. Ходил в моря и океаны, занимался вместе со второй женой бизнесом и, кажется, исполнил свою заветную мечту – наплевать на журналистику и жить в своё удовольствие...

Не так давно мы с однокурсником Володей Федосенко побывали у Юрки в гостях и несколько дней провели в его роскошной квартире на высоком этаже элитного дома. Вспоминали о прошлом, спорили. Нельзя сказать, что наше общение было душевным, зато оно давало пищу для размышлений. Впечатления от этой встречи остались противоречивые...

Юрка, Касым, Жарылкасын Иманбердиев вернулся к себе в Кызыл-Орду. Я побывал у него в гостях (проездом на Байконур), когда он президентствовал в местной футбольной команде. В этом качестве он приезжал и к нам в Павлодар. Работал также собкором республиканских газет, редактором кызыл-ординской областной

газеты. Написал несколько книг. Остался всё тем же нашим Касымом – открытым, искренним, бесхитростным. Мы изредка перезваниваемся. Недавно он прислал мне по электронной почте остросатирическую повесть.

Володя Федосенко – земляк, наш щербактинский, с которым мы жили вместе в общежитии и с тех пор не расстаёмся – вот уже сорок лет. Работал в Экибастузе в пору его самого бурного развития, создавал, а потом редактировал газету здешних энергостроителей. Потом, в пору развала всего и вся, был собкором областного телевидения. В самые трудные времена рискнул перебраться в Москву, где никто и никого никогда не ждёт. Закрепился и там – теперь обозреватель «Российской газеты» – одной из самых влиятельных в России. объехал всю Западную Европу, часть экзотической Азии. Бывал в горячих точках. Награждён именным оружием.

Володя сегодня – главный объединитель нашего давно не объединяемого курса – всё время пытается организовать большую журфаковскую встречу.

В Омске осел Саша Голев, на долю которого тоже пришлось немало испытаний. Когда-то, с четверть века назад, он перебрался из Алма-Аты в Экибастуз. Куда, кстати, уезжал из моей павлодарской квартиры. А уж оттуда и тоже в самые непредсказуемые времена рванул в Омск. Работал на телевидении, выпускал журнал, добрался до коридоров власти, где был не последним человеком. И уже мой средний сын Димка оказался под его началом, за что я Саше (и ещё Володе Федосенко) благодарен.

Мы редко видимся с Сашей, но зато всегда друг другу рады...

Несколько лет назад не стало Игоря Денисова – одного из самых талантливых среди нас, кто, как мне кажется, мог добиться куда большего, если бы не традиционный русский недуг. Мы с ним относились друг к другу по большей части иронично-задиристо, что не мешало нам дружить...

Наверное, надо было сказать о ком-то ещё. Но как написалось – так написалось...

* * *

Могут спросить: а что же девчонки? Почему так мало – о них? Может, потому ещё, что воспоминания эти настолько для меня дороги, что я не хочу переносить их на бумагу. Хотя, конечно же, я всех их помню – с ними столько хорошего и светлого связано... Были, само собой, и огорчения, и обиды, и неразделённая любовь... Но что теперь говорить об этом, когда на душе становится тепло при одном только упоминании имён. Людка Клыкова... Людка Яшная... Любка Власова... Таня Назлова... Наташа Баталова... Таня Конобейцева (хоть она и не училась с нами на очном)... Ирка Круч... Светка Сорокина (мы с ней – белолицей красавицей – после университета вообще не виделись ни разу)... Теперь все они пенсионерки, а у меня перед глазами – наши сверстницы, и одна краше другой. Такими они и будут навсегда в моей памяти... Как и ушедшие из жизни Надя Пяткова и Галя Агафонова, вечная им память...

* * *

Мы поверяли друг другу сердечные тайны. Мне по этой части везло почему-то больше других, и сколько тайных откровений я храню в своём сердце!

Как-то мне даже пришлось выступить в роли едва ли не свата со стороны невесты. Руки Ирки Паустьян добивался некий москвич, и были устроены смотрины, на коих именно мне Ирка доверила роль если не высшего судьи, то уж точно эксперта. Я должен был прямо сказать – подходит он ей или нет. И я согласился с этой ролью, не особенно задумываясь над тем, что это совсем «не мой вопрос».

Смотрины проходили в элитном доме близ Зелёного рынка. Пишу «элитном», потому что в той квартире пяти- или шестиэтажного дома был камин! И мы его растопили, натаскав досок со стройки, что была неподалёку.

Я специально выбегал на улицу, чтобы посмотреть – куда девается дым, ведь никаких труб на доме не было. И дыма над домом почему-то тоже не просматривалось.

Встреча была сугубо конфиденциальной, в узком кругу. Мы с претендентом на Иркину руку и сердце пили водку, закусывая её селёдкой и варёной картошкой «в мундире», девчонки – вино. Вскоре мы с «женихом» перешли на ты. Я уже знал, что он старше Ирки лет на шесть или семь, что работает на полиграфкомбинате издательства «Правда» и что намерения у него вполне серьёзные. Он мне понравился, и, уходя, я шепнул Ирке, что претензий к нему у меня нет, хотя советовать – идти ли ей за него замуж – даже после распитой на двоих бутылки «Столичной» я не могу...

Замужество её тогда не состоялось, и мы с ней, кстати, потом об этих смотринах никогда не вспоминали. Вместе окончили университет, на какое-то время я потерял её из виду, а потом узнал, что она уехала жить в Германию.

Много лет спустя мне прислали фотографию, на которой они вдвоём с Ирккой Круч запечатлены на лыжном курорте, кажется, в Италии... Эдакие вполне довольные собой и жизнью западноевропейки, решившие отдохнуть от своих мужей...

И сразу столько всего вспомнилось... Те давние смотрины... Крохотная комнатуха Ирки Круч в их собственном алма-атинском доме на Моцарта, 10, где и мне приходилось бывать. Ирка приобщила меня к высокой музыкальной культуре. Ставила пластинки с танцами Брамса, вальсами Шопена, «Кармен-сюитой» Родiona Щедрина. А я отчаянно стеснялся – и невежества своего музыкально-го, и более того – несвежих носков. Мне казалось, что их запах заполонил всю комнатуху.

После сеанса музыки полагался ещё обед в кругу Иркиной семьи, на летней веранде их дома. И опять я стеснялся, хотя обстановка за столом была простая и радушная.

Ирку от всех нас отличала некая «ненашесть». Она просматривалась и в одежде, и в стрижке, и в умении держаться иронично-насмешливо, манере разговаривать... У неё был острый, независимый ум.

В Германии она в третий раз вышла замуж. Прислала фотографию, где они вдвоём с мужем, и где она – зрелая, ухоженная, хорошо знающая себе цену дама. А однажды Ирка передала мне с okazji презент – домашней выделки колбасу, приготовленную из дикого кабана, добытого ими с мужем на охоте – в их собственных угодьях.

Что и говорить, нескучно живут мои однокурсницы! И они ещё способны на безумства: Ирка Паустьян, узнав, что мы с Володей Федосенко собрались в Одессу – навестить Юрку Павленко, недолго раздумывая прилетела туда тоже. Много чего порассказала о своём далеко не беспроблемном житье-бытье на исторической родине... Время всех нас, конечно, не украсило, но иногда мне казалось, что передо мной всё та же Ирка – весёлая, никогда не унывающая, бесшабашная...

* * *

Не могу не сказать – хотя бы кратко – о Наташе Баталовой, очень дорогим и близким мне человеку. Вспоминаю о ней – и на душе становится светлей. У меня есть её девичья фотография – тургеневская девушка с косой, ни больше ни меньше... Хорошо образованная, тонкая, деликатная. Иногда мне казалось, что она случайно оказалась среди нашей братии. Казалось, её место – совсем в иной, красивой и содержательной жизни.

Наташу, безусловно, ожидало большое будущее. И не обязательно журналистское. Но она большую и лучшую часть жизни отдала тяжело больному сыну. И даже когда врачи говорили ей, что он всё равно обречен, она им не верила. И боролась за него – дни и ночи, месяцы, годы... Вопреки всему. Это был без всякого преувеличения материнский подвиг. Она спасла своего сына, теперь он взрослый самостоятельный человек.

Мы с Наташей давно живём в разных государствах. Иногда она звонит мне из Питера и заражает своим жизнелюбием.

А я вспоминаю, как они с Ириной Круч, возвращаясь с одной из практик, заехали к нам в «Михайловский»; как я их встречал на разъезде «Осенний» и вёз домой ночью, на мотоцикле без света. И как утром, увидев на столе блюдо с дымящейся бараниной, Наташа воскликнула:

– Как я люблю, когда много-много мяса!

Хотя сама его почти не ела.

Однажды она сказала мне, что хотела бы собрать всех мужчин, которых любила, за одним большим столом и накормить борщом. Они будут сидеть, а она наливать каждому в чашку из большой кастрюли.

Я бы тоже хотел быть за этим столом...

ПРОСТО ВСПОМНИЛОСЬ...

Горы – ещё одно из самых ярких воспоминаний студенческой поры. Чаще всего мы ходили на Кокжайляу, куда нас впервые вывела Таня Назлова. И после первого похода я, считавший, что нет и не может быть ничего краше милой моему сердцу лесостепи с берёзовыми колками, понял – насколько ошибался. Эта зелёная долина в обрамлении гор хороша в любое время года, а особенно весной и зимой.

С самого первого похода мы окрестили тягучий крутой подъем в начале пути Любкиной горкой, потому что Любка Власова плакала, с горем пополам преодолев его. И в горы с нами больше никогда не ходила. А мы облазили многие места в окрестностях и Малого, и Большого Алма-Атинского ущелий: забирались и на Мохнатку, и на Чимбулак, и на Фурмановскую сопку, ходили и на Большое Алма-Атинское озеро. Я в одиночку чёрт знает куда залезал вверх по горной речке, впадающей в Малую Алма-Атинку у санатория «Просвещенец». Однажды зимой, один, попёрся на Кумбель, что было полной глупостью. Случись что со мной на обледенелом склоне среди голых камней – кто бы и когда там нашёл меня? К счастью, обошлось. А на Кумбеле (это три с лишним тысячи метров) бывал потом не раз. Рвал на его склоне мохнатые, с виду невзрачные цветы – эдельвейсы и даже альпийские розы. Часто приносил горные цветы и в общагу. И – поразительная вещь – их дивный запах пропадал здесь уже через несколько часов.

Бывало и так: отправившись в воскресенье утром в горы, я часам к пяти возвращался, принимал душ, пил чай и шёл в театр, который открыл для себя именно в Алма-Ате. Помню и первый увиденный мною спектакль в Лермонтовском театре – «Человек из Ламанчи» с Юрием Померанцевым в главной роли Дон Кихота. А со временем мы приспособились ходить на сдачи новых спектаклей – по сути премьеры. И нас никто не гонял с этих просмотров.

Были и другие хитрости. Самый дешёвый билет в театр стоил тогда 40 копеек. Купив его, чаще всего можно было выследить свободное место в партере и после третьего звонка занять.

За пять студенческих лет я посмотрел практически все спектакли Лермонтовского театра и многие – Алма-Атинского ТЮЗа. Жаль, что теперь на месте

последнего, канувшего в Лету, высится монстрообразный высотный дом, не без оснований именуемый коренными алмаатинцами мужским детородным органом с причиндалами...

* * *

Летнее кафе «Акку» в парке у Дома Правительства, на углу улиц Кирова и Панфилова, через дорогу от главного корпуса КазГУ... Пара лебедей в крохотном пруду. Сухое белое вино «Ркацетели», которое мы могли себе позволить. Иногда ещё «Рислинг». Но выгоднее всего было принести с собой местное «Семиреченское» – тоже «как бы сухое» – и незаметно подливать его в стаканы.

...Немолодая молчаливая грузинка (или армянка?) варила здесь кофе с пенкой – в небольшой турке, на металлическом листе, заполненном мелким песком. Едва пенка поднималась, она подхватывала турку и разливала кофе в крошечные чашечки. К кофе я тогда был равнодушен, но мне нравилось смотреть, как женщина работает, и нравился аромат свежесваренного кофе.

Было ещё несколько популярных заведений подобного рода вокруг. Для любителей портвейна – «Стекляшка», лепившаяся к главному корпусу со стороны гостиницы «Алма-Ата», в ту пору самой престижной в столице. В «Стекляшку» бегали опохмеляться или, сбжав с занятий, поговорить «за жизнь».

Для эстетствующих лучше всего подходило кафе «Театральное» – в парке у оперного театра. Сюда ходили пить популярный в ту пору коктейль «Шампань-коблер», стоивший, впрочем, недёшево, больше двух рублей. А высшим шиком считалось, вращаясь (чем дольше, тем лучше) опустошив высокий бокал, подтянуть к основанию трубочки обязательную вишенку и вытащить, не повредив...

В первый год нашей учёбы работала шашлычная на задворках ТЮЗа, где на рубль выходило аж четыре шашлыка (вообще-то стоил он 23 копейки, но сдачи никто и никогда не требовал), хлеб же или вкусные лепёшки, как и лук, сдобренный укусным раствором, были бесплатными.

Алма-Ата начала – середины семидесятых и вообще-то считалась по части продовольственного обеспечения городом вполне благополучным. Я это хорошо знаю, потому что после желтухи врачи мне рекомендовали диетическое питание. И из колбас я отдавал предпочтение нежирным докторской и молочной, а также вовсе обезжиренной диабетической. И они всегда были на прилавках ЦГ – центрального гастронома. Куда это всё потом подевалось?

Желтухе я также обязан знакомству со знаменитой «Диетичкой» – диетической столовой, находившейся на Коммунистическом проспекте, чуть выше улицы Калинина. Там был выбор блюд, которому мог позавидовать любой столичный ресторан той поры. Я брал, например, свекольник, паровые котлеты, иногда – индейку (да-да, приличный кусок вкусного белого птичьего мяса), напиток из шиповника. Но в меню (и в натуре!) были также разнообразные каши, варёная говядина, твёрдые сыры, колбасы, омлет и т. д. И всё – по вполне приемлемым ценам. Я, например, обычно укладывался в рубль. Правда, пускали в «Диетичку» по специальным пропускам, и время от времени меня «отсеивали». Но ненадолго. Так что именно «Диетичке» я во многом обязан своему относительно быстрому восстановлению после перенесённого гепатита. Ещё от спиртного воздерживался с полгода и мучил себя кефиром. Даже в горы первое время с собой таскал и возненавидел потом его так, что несколько лет на дух не переносил.

Бывали мы и в ресторанах, но очень нечасто. Там я впервые попробовал цыплёнка табака (два рубля 29 копеек порция!) и настоящую алма-атинскую солянку, которую люблю до сих пор.

Благодаря желтухе я дважды побывал в университетском профилактории, который размещался в одном из общежитий, напротив Никольского базара. В профилакторий направляли по путёвкам профкома университета, основанием для чего могла быть перенесённая серьёзная болезнь, или операция, или объективные материальные затруднения студента. Не помню уже – сколько стоила путёвка, но помню, что очень недорого – рублей десять – двенадцать (стипендия, напомним, была 40 рублей). Зато в профилактории сытно и вкусно кормили (три раза в день!) подлечивали, к тому же здесь можно было жить...

Был тут и свой спортивный инструктор. И главврач, напутствуя новичка, непременно сообщала:

– Для спорта имеется Ирак в пятнадцатой комнате.

Меня Ирак запомнил, потому что я по утрам бегал по влажным, тенистым окрестным улицам и возвращался, когда он заканчивал зарядку с другими оздоравливающимися. Сейчас же пишу об этом лишь потому, что Ирак впоследствии стал известным в Казахстане человеком – заместителем министра и даже депутатом Мажилиса. И когда наши пути где-нибудь пересекались, Ирак нос не задирает, а бросался навстречу, приговаривая:

– Помнишь, как мы с тобой в профилактории!..

* * *

Как хорошо было бы рассказать о великолепии Никольского базара, куда мы частенько забегали, особенно на исходе лета и осенью, когда всё его богатство – яблоки и виноград, арбузы и дыни, все прочие дары здешней благодатной природы стоили сущие копейки. Но боюсь, что у меня не хватит слов...

* * *

В Алма-Ате я видел Владимира Высоцкого. Там гастролировал Театр на Таганке. Проблем с билетами не было, потому что для гастролей «Таганки» выделили Дворец имени Ленина с огромным количеством зрительных мест. Я успел побывать на трёх спектаклях: «Добрый человек из Сезуана», «Десять дней, которые потрясли мир» и «Антимиры».

Подходя однажды ко дворцу, ничего не мог понять – откуда-то неслись революционные песни. Вместо билетёров зрителей встречали революционные матросы с винтовками, перепоясанные пулемётными лентами. А в просторном фойе дворца на невысоком помосте стоял Высоцкий – в джинсах и свитере, с гитарой. И – пел! Он был так близко от меня, что его можно было потрогать...

Не могу, впрочем, сказать, что меня уж очень тронули спектакли «Таганки». Было любопытно – и не более того. Мне всё же больше по душе классика, а не суперноваторство.

Мы очень надеялись тогда, что будет устроен концерт (или даже несколько) Высоцкого. Но этого, увы, не случилось.

На одном из спектаклей мы столкнулись в антракте с Васькой Дмитриевским. Он только что вернулся из стройотряда, в котором отработал три с лишним месяца, а потому был сказочно богат – получил расчёт в тысячу с лишним рублей. Спросил, пил ли я когда-нибудь бренди? И поскольку ответ знал заранее, повёл к себе домой и угостил желтоватой жгучей жидкостью из заморской бутылки. Потом, само собой, мы перешли на портвейн...

...Через много лет, уже будучи редактором газеты, я в первый раз (и, к сожалению, в последний) попал в «цэковский» санаторий, из которого высокопоставленный контингент время от времени вывозили на концерты и спектакли. Так я

оказался во всё том же Дворце имени Ленина на творческой встрече с Мариной Влади, которая пела, рассказывала о Высоцком и презентовала свою книгу о нём «Владимир, или Прерванный полёт». И Марина, и книга (я её сохранил) мне тогда решительно не понравились: уж как-то очень запросто обращалась Марина Влади с именем «нашего Высоцкого». Понимаю теперь, что я был тогда неправ: и книгу она написала неплохую – во всяком случае искреннюю, доброжелательную, и, наверное, правильно поступила, не сказав в ней всей правды, к которой большинство из нас не было готово; и о Высоцком на вечере вспоминала только хорошее. Она была по-настоящему близким и дорогим ему человеком. А во мне тогда говорила, наверное, глупая провинциальная ревность: ведёт себя так, будто присвоила себе «нашего Высоцкого». Хотя кто его только после смерти ни присваивал – столько друзей сразу нашлось... Не по душе мне ежегодные шоу, что устраиваются в дни его рождения и смерти. Как и фильм, где играет его двойник... Не будут его смотреть так, как те же «Вертикаль», «Служили два товарища», «Опасные гастроли», а тем более «Место встречи изменить нельзя».

* * *

В Алма-Ате я впервые увидел живого Евгения Евтушенко, бывшего для людей моего поколения едва ли не кумиром. Как, впрочем, и Роберт Рождественский, Булат Окуджава, другие шестидесятники...

Случайно узнал: будет поэтический вечер в театре имени Лермонтова с участием поэтов союзных республик (в Алма-Ате был какой-то большой сбор литераторов), на котором должен выступить и Евтушенко. Билеты на вечер не продаются, а распределяются. Вроде сколько-то пригласительных досталось и нашему журфаку, но где уж мне, второкурснику, было рассчитывать на удачу. Решил: пойду заранее к театру – вдруг что-нибудь да и выгорит.

Встречаю в общаге пятикурсника Борю Кожарова, держащего в руках какую-то бумажку.

– Вот, – говорит, – дали пригласительный на поэтический вечер, а я идти не хочу. Может, ты пойдешь?

Даже теперь, столько лет спустя, поражаюсь свалившемуся на меня счастью. А тогда – хватаю билет, мигом собираюсь и больше чем за час, когда ещё никого не пускают, я уже у театра... Не пускают нас, страждущих, довольно долго, пока не приезжают литераторы. Их ведут через живой коридор к театру, и я слышу умоляющий женский голос:

– Евгений Александрович! У меня нет билета! Проведите, пожалуйста!

Евтушенко я, отгороженный людьми, не вижу, но слышу:

– Не могу, это ведь не мой вечер...

Теперь уже плохо помню – кто и что читал тогда. Помню лишь, что вёл вечер Олжас Сулейменов, и все, кому он давал слово, читали по одному стихотворению, а Евтушенко прочитал два: «Идут белые снега» и «Приходите ко мне на могилу». Последнее, по-моему, очень хорошее, где в самом конце неожиданное двустишие:

«Приходите ко мне на могилу,

На могилу, где нету меня!»

Я это стихотворение в его исполнении никогда больше не слышал. Исключение для Евтушенко было сделано лишь потому, что его не отпускали со сцены. А тишина, когда он, как всегда мастерски, читал, в переполненном душном зале стояла такая, что было слышно, как где-то сверху шелестят невидимые вентиляторы (кондиционеров в ту пору в театрах ещё не было).

Пройдёт больше двадцати лет, Евтушенко приедет в Павлодар, мы встретимся в Доме-музее Павла Васильева, окажемся на какое-то время вдвоём, я напомним ему про тот вечер, и он разведёт руками:

– Извините, не припоминаю...

* * *

Сколько же ещё всего было в те годы! Плохое, за небольшим исключением отсеклось и улетучилось, а хорошее помнится.

Стройотряд на самом юге Алма-Атинской области, в целинном совхозе «Рославльский», где мы построили школу и несколько жилых домов... Очень тяжёлая, иногда на пределе сил, часто от темна до темна работа с редкими-редкими выходными... Когда мы после обеда в сорокаградусную жару шли на свои объекты, сельские улицы были совсем безлюдны – всё живое пряталось в это время от зноя. А мы работали, даже через силу... И это была хорошая школа жизни – без всяких скидок на былые заслуги. Стройотряд очень быстро показывал – кто ты есть на самом деле. А для многих он был едва ли не единственной возможностью учиться очно без помощи родителей, потому что давал возможность заработать за два, а тем более три летних месяца на целые полгода, а то и год студенческой жизни.

* * *

Военная кафедра, на которой из нас готовили командиров взводов зенитно-пулеметных установок «ЗПУ-4» и «ЗУ-23»... После относительной вольницы на обычных лекциях «военка» с её построениями-разводами-перекличками мало кому могла понравиться. Тем более что наши майоры-подполковники-полковники (а некоторые из них участвовали в реальных боевых действиях за рубежами СССР) старались и учить, и воспитывать нас по-настоящему... Я до сих пор помню их фамилии – подполковник Михайлов, полковники Кузьмин и Просвиркин...

Не могу сказать, что «военка» была любима нами. Но мы старались иронически воспринимать выпадавшие на нашу долю в этот день недели тяготы и лишения. А после занятий, выпотрошенные и голодные, шли в подвальчик на улице Шевченко, в столовую, где можно было полакомиться домашними пельменями. Теперь там ресторан...

...Отъезд на сборы – уже после пятого курса – с железнодорожного вокзала Алма-Ата-2... Прощальные взгляды однокурсниц с перрона, в которых столько всего читалось: нежности и невысказанной любви, горечи и отчаяния.

Сами сборы – на стыке Узбекистана и Киргизии, неподалёку от города Ош. На большой здешний базар иные из нас ездили подкормиться. Торговцы, завидя курсанта, едва ли не наперебой предлагали любые фрукты и овощи. Тогда мы ещё нигде не были ни оккупантами, ни некоренными...

Житьё в палатках на десять человек... Дикая жара днём и холод ночью (это – предгорье)... Военные автомобили – вездеходы в ангарах, выше колёс залитые грязью недавнего села (в случае военной тревоги они не тронулись бы с места).

Первый наряд... Я – истопник. Подъём в три часа ночи. Часа за полтора печку раскочегарил. После чего следует команда: «Туши!» Способ один – заливать горящие поленья водой из ведра. И как только печь всё это выдерживала! Я же колотился возле неё сутки и возвращался из наряда чуть живой и грязный как чёрт.

...Местные сигареты «Ала арча» – по шесть копеек пачка. Они были «термоядерными». Лёха Закутаев издевался:

– Стипендиат! Ладно я их курю – у меня уже дочь есть. А у тебя точно детей не будет – бросай...

...Первые письма – нам. Мне от Ольги раньше, чем всем другим. Тайные завистливые взгляды...

Боевые учебные стрельбы – из автоматов и зенитных установок – тех самых «ЗУ-23», предназначенных для стрельбы по низколетящим воздушным целям и наземной боевой технике противника. От каждого залпа так бьёт по ушам, что лучше держать рот открытым...

Сколько раз я потом видел на телеэкране эти наши «зэушки» – они засветились, наверное, всюду, где начинались боевые действия: и на Ближнем Востоке, и в Африке... Это я к тому, что и учить нас старались по-настоящему, и техника была самая что ни на есть ходовая.

Какое-то время спустя всем нам были присвоены звания лейтенантов.

* * *

Была в университете хорошая традиция: вечера встречи «пятый – первому». На ней пятикурсники посвящали «молодняк» в тонкости будущей студенческой жизни. Больше всё это делалось в шутку, хотя кое-что говорилось и всерьёз. Но ведь правду говорят: ничей пример, как правило, никого ничему не учит, и каждому из нас пришлось потом не раз наступить на собственные грабли...

Хорошо запомнил прозвучавшую на том вечере-встрече и сам после не раз повторял фразу:

Если нет искры в мозгу, не поможет и КазГУ!
Ну а есть искра в мозгу, то зачем тебе КазГУ?

Я до сих пор не знаю, есть ли она у меня в мозгу, эта искра. Зато другое знаю точно: КазГУ был и навсегда останется, может быть, самой лучшей порой моей жизни...

* * *

...На юбилей университета я не поехал.

По несчастью или к счастью, истина проста:
Никогда не возвращайся в прежние места.
Даже если пепелище выглядит вполне –
Не найти того, что ищем, – ни тебе, ни мне...

